

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ Янош Хаи

ТЕКСТ

Янош
Хаи

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ



Книга эта — не столько критика эпохи, как представляется в первый момент, сколько изображение — изображение очень мрачное, подробное и, вне всяких сомнений, очень современное — сложных отношений между мужчиной и женщиной.

«Мадьяр немзет»

Три монолога, которые складываются в роман, или, точнее, образуют цельный роман.

Две женщины, один мужчина.

Удивительно было бы, если эти личные истории и перипетии не сгустились бы в любовный треугольник. Но больше всего изумляет другое.

Напрасно подруги «любовницы» утверждают, что ситуация эта — совершенно обычная: ничего подобного!

Прозу Яноша Хаи никак не назовешь банальным текстом.

«Мадьяр наранч»



t
T
t
e
t
e
x
K
C
t
T

János Háý

A MÉLYGARÁZS

Янош Хаи

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РОМАН

*Перевод с венгерского
Юрия Гусева*

МОСКВА «ТЕКСТ» 2018

УДК 821.511.141-31
ББК 84(4Вен)-44
X15

*Издательство благодарит за поддержку:
Министерство внешнеэкономических связей
и иностранных дел Венгрии
Венгерский культурный центр в Москве*



MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS AND TRADE
OF HUNGARY



ISBN 978-5-7516-1505-5

© János Házy, 2018

© Ю. Гусев, перевод, 2018

© «Текст», издание на русском языке, 2018

Что вышло, то вышло, то мы и имеем. А насчет того, что могло бы выйти... Раз не вышло, значит, и говорить нечего...

Он взялся за ручку двери. Оглянется? Нет, не оглянулся.

Что ж, разве это не логично, что произошло так, а не иначе?.. Потому что произошло именно так... И неизвестно, что было бы, произойди оно по-другому.

Он взялся за ручку двери и, словно уставший грузчик — вроде тех, что перевозят вещи при переезде, — ссутулившись, вынес из комнаты то, что было его, а какое-то время и мое тоже. Я не сказала ему, мол, уходи, не могу я больше, не могу, что ты здесь, со мной, как бы по совместительству. Что вечером я приду домой, а тебя нет, только чертова пустота да телевизор и полное нежелание что-то делать: ужин готовить — зачем? пойти куда-нибудь — зачем? Я беру телефон, но напрасно звоню, ты не отвечаешь. Не хочешь, чтобы те, кто там с тобой, знали, что я тоже есть на свете. Смотрю на телефон, вижу, как гаснет экранчик: меня нет. *Этой женщины — просто нет.* Паршивая штуковина с кнопками, а способна нанести такой безжалостный удар, что я по-

сле этого не сплю всю ночь. В полусне слышу: что-то бормочет радио. Какие-то люди рассуждают о мире, во всяком случае, о том мире, в котором они считают себя компетентными, в котором они — эксперты. Повтор утренней программы: политические события, утром еще актуальные, или события, касающиеся страны, в которой я живу, события, которые уже к вечеру, конечно, давно потеряли свою актуальность, потому что где-то закончились, скажем, выборы, или подал в отставку какой-то министр или важный чиновник, или завершился судебный процесс и вынесен приговор, которого все целый день ждали, или пошло наконец на спад катастрофическое наводнение, которое давно угрожало северо-восточной части страны, там протекает большая река, и, хотя она много лет не разливалась, теперь вот взяла и разлилась, то ли из-за обильных зимних снегопадов, то ли потому, что в соседних странах защита от наводнений организована так, что излишки воды каким-то образом оказываются у нас, они, можно сказать, на нас свою воду спускают, как выразился кто-то, немного смешав вопросы защиты от наводнений и недоброжелательности соседних народов, — короче, половодье в общих чертах пошло на убыль, а может, наоборот, вечерний пик потребовал даже больше жертв, чем утренний максимум. Потом что-то про рынок недвижимости, где и что лучше покупать, и каков сейчас рынок жилья, и почему он то ли в нижней точке, то ли в верхней, я не вникла, и что можно надеяться на кредиты с более выгодными процентами, правительство уже обещало банкам компенсацию, а стало быть, строительная индустрия теперь должна пойти на подъем. Потом, ближе к утру, начались новости сельского хозяйства, насчет того, чем сейчас пора занимать-

ся. Один человек с провинциальным акцентом, про которого, конечно, всем известно, что живет он в столице, просто научился говорить с провинциальным акцентом, а людям в провинции это нравится, они, наверно, думают, что он такой же, как они, — словом, этот человек с провинциальным акцентом толковал, что следует именно сейчас готовить к весенней страде и что он очень рекомендует органические удобрения, потому как лучше них ничего нет. Упомянул он и о том, что из-за неразумного применения искусственных удобрений земля становится слишком кислой, и еще говорил о закладке компоста, каковая процедура доступна даже для владельцев небольших участков, а с точки зрения окружающей среды это прямо-таки очень здорово.

Кажется, тут я все-таки заснула ненадолго. Человек с провинциальным акцентом куда-то вдруг делся. А я вдруг увидела себя там, где живет он, живет среди тех, которые знать не знают, что я есть на свете, среди тех, с кем он, придя домой, держится так, будто меня нет, будто такого человека, как я, вообще нет на свете. Я стою в дверях, он открыл, думая, это почтальон или кто-то, кто живет под ним, мало ли, например, потолок протек в ванной, а я говорю, что не могла я не прийти, потому что не могу же я жить, словно меня вообще на свете нет. Он растерянно озирается, жена, дети, я, дверь, окно, шкаф. Дети смотрят на меня, ничего не понимая, взгляды их бегают, кто это в двери, спросили бы они, если бы смели заговорить. Они — больше, чем я думала, я всегда представляла их маленькими, ведь только так я могла себе объяснить, почему он остается с ними. Взгляд той, другой женщины пронзает полумрак — в прихожей горит только одна тусклая лампочка, — что мне здесь надо и как это я набралась нагло-

сти, решившись переступить их порог. С тем, что ее муж перешагивает мой порог, ладно, она смирилась, жена все должна выносить, и такое, например, тоже... но чтобы — в ее собственной квартире... Моя квартира, так она говорила, а муж даже не упоминался как владелец. На пороге моей квартиры, — двинулась она ко мне, — на пороге моей квартиры, так нет же! — крикнула она мне в лицо и, подойдя на расстояние вытянутой руки, толкнула меня, и я упала навзничь на лестничную площадку. И ударилась головой о стену, и от этого проснулась, от этого — а еще от того, что грохнула соседская дверь. Сосед в это время уходит на работу, а перед этим орет на жену, вчерашний хмель у него еще не выветрился. Жену он люто ненавидит, ведь из-за нее он должен каждое утро идти куда-то, ее он считает причиной всего: и того, что — работа, и что надо вкалывать, и что именно там, не знаю где, никогда с ним об этом не говорила, на каком-то заводе, что ли...

Утром, когда он пришел, я едва держалась на ногах. Что, плохо спала, спросил он. Плохо, сказала я, но не стала уточнять почему, только страшно стало на миг: если таких ночей будет много, как же я буду выглядеть, и однажды он скажет, не понимаю, почему мне твое лицо так нравилось, а теперь — совсем не нравится.

Я не сказала, мол, уходи. Он ушел сам. Его уже не было в комнате, потом в прихожей, на лестнице, на улице, вообще нигде, только память о нем гнездилась где-то, а я, конечно, ее обходила еще несколько месяцев. По крайней мере, пыталась обходить, но все время на нее натывалась. И здесь он был, и там, он мерещился мне всюду, где когда-то ему случалось бывать хоть раз, он словно растворился, как какой-нибудь сказочный герой, которого волшеб-

ная палочка или волшебный кафтан сделали невидимым, но все-таки он был там.

Не могу в этой квартире жить, думала я; такое ощущение, будто на стенах не краска, а везде — он. Не могу, и все, надо ее продавать, избавиться надо от нее... Тут мне вспомнилась та радиопередача, насчет недвижимости, там говорили, что условия для продажи сейчас как-то особенно неблагоприятны, вообще неблагоприятны, а в этом районе особенно. Ну и пускай. Сколько дадут, столько дадут, куплю квартиру похуже или поменьше, думала я, но в конце концов так и не предприняла ничего... Пальцы вдруг наткнулись на жвачку: полгода, наверно, прошло, как он оставил ее здесь, на полке, на обложке какой-то книги. Чтоб тебя, чертыхалась я, пытаюсь убрать засохшую, окаменевшую жвачку с блестящей суперобложки. Это оказался путеводитель, место, куда, думали мы, обязательно надо поехать. Барселона, например. Там мы наверняка будем чувствовать себя прекрасно. Будем бродить по незнакомым улицам, смотреть на жителей, гадать, о чем они думают, что ждет их дома, радоваться, что уж нас-то ждет только хорошее в том относительно недорогом пансионе, который мы даже успели забронировать, совсем не думая о том, что, кроме нас, надо иметь в виду кого-то еще. Мне и в голову не приходило, что он, наверное, украдкой будет слать эсэмэски: уйдет, скажем, в ванную, и — оттуда, чтобы успокоить домашних... Я отскабливала жвачку ногтем, на суперобложке образовалась прореха, а оттуда выглянул кусочек фотографии: какая-то красивая улица. Бог знает откуда, из какой незаметной щели вылезет еще что-нибудь, что напомнит о нем... Стул я уже давно поставила обратно к столу. Он отодвинул его в тот день, когда я еще думала, что он, собственно,

живет со мной. Это только видимость, будто с женой, это — ложное впечатление, а на самом деле — со мной. И если в какой-то момент, что называется, в стакан будет налита чистая вода, то в той воде окажется именно эта квартира.

Раньше я думала, квартира эта — уже не моя, а наша, как раз поэтому она такого размера, как раз поэтому в ней — еще одна комната, ведь квартира эта только того и ждала, чтобы он тоже в ней поселился. Не знала я, когда покупала, что именно поэтому покупаю такую квартиру; мы не всегда знаем, почему поступаем так-то или так-то, просто делаем что-то, а потом оказывается, что именно так и нужно было сделать. Мы словно заранее чувствуем, что случится именно это. Относительно квартиры: какое-то время у меня и сомнений не возникало, что я должна купить ее, имея в виду как раз наше общее будущее, купить именно ее, а не ту, другую, которая в квадратных метрах — точно такая же, но, кроме кухни и ванной, представляет собой одну большую комнату. В общем, типичное жилье для одиноких, и в самом деле, ее и спланировала одинокая женщина, которая была в том возрасте, когда у нее уже не осталось надежды, что найдется кто-нибудь, кто — только с ней и навсегда. Но жизнь все-таки сложилась у нее так, что — нашелся. Потому и пришлось ей расстаться с этой однокомнатной квартирой, а на деньги, вырученные за эту квартиру и за квартиру того, кого она нашла, купить другую, такую, чтобы годилась для двоих, а может, еще и для ребенка, ну или для детей, которые, может, родятся. Потому что, да, верно, она почти уже вышла из того возраста, но сегодня ведь не редкость, что и в ее возрасте, то есть за сорок, если уж говорить конкретно, женщины все же рожают.

Так я слышала; во всяком случае, так рассказывал кто-то, кто знал ту женщину. Здесь вообще-то все всех знают, или, по крайней мере, всегда найдется кто-то, кто знаком с кем-то, кого ты знаешь. Ужасно маленьким может казаться этот город, хоть в нем несколько миллионов жителей: спрятаться тут, если даже захочешь, невозможно. Какая тайная связь: тут просто быть такого не может! Разве что об этом не говорят вслух, как было и с нами. Спустя какое-то время все всё про нас знали, просто помалкивали об этом.

А женщина та, я слышала, потом ох как жалела о своей однокомнатной квартире. У обоих, и у женщины этой, и у ее нового спутника, за десятилетия одинокой жизни накопилась целая куча всяких привычек и причуд, которые они, конечно, сами не очень-то замечали: ведь когда ты живешь один, то понятия не имеешь, как, например, можно выйти из себя, если в прихожей не выключен свет, если фен выдернут из розетки, если мокрое полотенце брошено на постель, если ванна оставлена грязной, — потому что, пока ты жил один, все было по-другому. Короче, все эти привычки и причуды сговорились между собой, как злобные греческие боги, и за пару лет камня на камне не осталось от любви, которая казалась такой многообещающей. Женщина и мужчина эти быстро избавились от совместно нажитого имущества, после чего смогли продолжать жизнь лишь с некоторыми потерями. Женщина — в значительно меньшей, чем прежняя, квартире и, естественно, в районе, который уже не был таким привлекательным, как прежний, тихий, в зеленой зоне. А кому понадобится стареющая женщина с квартирой, находящейся в не слишком уютном месте. Как исключение подобное, может, и случается, но статистически такая возможность близка к нулю.

Словом, выбрала я не ту квартиру, потому что подсознательно была во мне мысль об общем будущем, хотя и неизвестно было пока, с кем, и вторая комната долгое время стояла пустой, я там лишние вещи хранила. Коробки, изношенную одежду, всякие электрические приборы, с которыми я не знала, что делать. Вот придет день, когда избавляются от ненужных вещей, сказала я ему, и тогда эта комната станет жилой, и будем мы ее называть не свалкой, а твоей комнатой. Ты ведь поможешь мне все вытащить? Конечно, сказал он, и в самом деле помог.

На улице сидели цыгане, заняв выброшенные стулья, огромные такие мужики, кричали на тех, кто пытался что-нибудь унести из груды старья: не видишь, что ли, это уже наше, — и быстро переводили взгляд на открывающуюся дверь подъезда. Это нам очень пригодится, начальник, говорили они, увидев негодный и удивительно безвкусный торшер, который еще отец мой купил, а я все не решалась его выкинуть, потому что для отца он был вроде индикатора, показывающего, люблю ли я еще своих родителей. Нормально работает, спрашивал он, когда был у меня. Он подходил ко мне сзади и предлагал помассировать мне шею, если болит, и шея как раз болела. Я боялась этой близости, хотя уже не так, как в детстве. Что-то от него исходило такое, что не должно исходить от отца. Нормально работает, спрашивал он, и я отвечала, да, нормально, и из моего ответа он делал для себя вывод, что я все еще ценю отношения с родителями, отношения, которые он считал уникальными, а отношения между нами, то есть между ним и мной, совершенно особыми, себя же — таким человеком, таким мужчиной, сравниться с которым очень трудно, почти невозможно, и он ужасно жалеет, что тем самым он исключительно высоко под-

нял планку для любого мужчины, который захочет ко мне приблизиться. Здоровская вещь, начальник, кричали цыгане, и что они помогут снести и другие вещи. Спасибо, не надо, сказал он, там еще на один раз всего.

Это стало — нашей квартирой. Я так и говорила, наша, и старалась не говорить, пойдем ко мне, а только: к нам. Но он никак не мог привыкнуть к этому, все время говорил, к тебе, или у тебя, а потом смущенно поправлялся: ну, к нам, или: у нас. Пойдем к тебе, говорил он, когда мы были с кем-то, и тут же поправлялся: то есть к нам. Ладно, говорили друзья, которые, конечно, точно знали, что это «к нам» для него означает совсем другое, потому что у него есть место, где он постоянно живет с другим человеком, и только время, остающееся от того, другого места, посвящает этой квартире. Мы наконец уходили, дома что-то еще оставалось после Пасхи, ветчина, ветчины я купила с запасом, потому что думала уже не только о себе, но и о нем, и эти мысли увеличивали количество покупаемой ветчины не вдвое, а вчетверо, впятеро, хотя Пасху я все же проводила в одиночестве, как и остальные праздники. И тут даже не помогало, что он говорил: перед праздником один день пускай будет — наш праздник. Потому что день перед праздником не был праздником, а был всего лишь таким же днем, как и все другие.

Он никогда не хотел жить со мной. Хотя тогда я не знала этого. Да и как я могла бы почувствовать тогда, что он этого не хочет, если я столько жила без него — и теперь не могла представить иначе, как только с ним, только вместе. Логично было или, по крайней мере, выглядело логичным, что он тоже этого хочет, поскольку там, где для него было

«у нас», там, в другой квартире, он чувствует, что ему чего-то не хватает. Это «что-то» — не шкаф, не какая-то одежда, не кровать, не стол, не телевизор и не бритва, — все это там было. Не хватало ему чего-то такого, что он мог бы получить лишь от человека, который живет рядом с ним, но этого он как раз и не получал. Он в сердце ему был готов влезть, как он говорил, чтобы достать оттуда, даже силой, если не выходит по-иному, достать то, чего ему не хватает. Но силой из сердца ничего нельзя достать. Другой, тот, кто рядом с ним, лишь морщился и вскрикивал, мол, осторожней, больно ведь, или: бьется не так, когда ты там хозяйничаешь, в сердечных камерах. Нечего тебе там копать, а рыбные консервы, маринованные огурцы — это все в кладовке. И он отдергивал руку и смотрел испуганно, как ребенок, когда кто-то из взрослых заметит, что он собрался вставить шпильку в электрическую розетку, и заорет на него. Так он и сидел испуганно, годами, и время от времени снова пробовал что-то сделать украдкой, вдруг тот, другой, как раз отвернется, и в этот момент он что-нибудь достанет себе из другого сердца, — но каждый раз его одергивали. Прекрати, слышишь ты, прекрати, я же говорю, больно.

И так лето за летом, зима за зимой, весна за весной, много раз открывались и закрывались облачные двери, кто знает, сколько раз овеивал свежий ветер деревья в лесу, гладил шерстку диких зверей, — и тогда он сказал себе, все, хватит, надоело сидеть мне и ждать чего-то, соберусь-ка я с силами, заиграю на своей волшебной свирели, созову своих помощников, упакую в узелок еды на три дня и отправлюсь по белу свету искать счастья-удачи. Отправлюсь, как третий, меньший сын бедного землепашца, сын, на которого все уже махнули рукой, а прежде всех —

сам землепашец, мол, никчемный совсем парнишка, и ростом не вышел, и щуплый какой-то, и уж до того неловкий, что вместо пшеницы ноги себе режет серпом, вместо гвоздя по пальцам своим попадает, а если ничего не делает, то сам об себя спотыкается, так говорил этот крестьянин.

Я любила, когда он мне что-то рассказывал, это было для меня словно обретение покоя. Я лежала, положив голову ему на плечо, слыша, как бьется его сердце, то неспешно, то ускоряясь. И мне казалось, будто это похоже на шаги, шаги самого младшего крестьянского сына. Пойду я по белу свету, говорил он, как самый младший сын бедного землепашца, пойду в тридевятое царство, через леса и моря, через горы стеклянные, и вскарабкаюсь по травинке, что до самого неба растет, и спущусь по корню, что до сердца земли уходит, и отыщу королевну, которая станет украшением моего царства. Если надо, отсеку дракону все головы, и все его лапы, и все его хвосты, и залью пламя у него в поганой глотке, и если понадобится, изрублю в куски черного рыцаря, и выпущу кровь у князя тьмы, и утоплю в омуте Бабу-ягу, и прогоню прочь злую мачеху — и в конце концов завладею сердцем, которое бьется в груди королевны, запертой в неприступной башне.

И все так и случилось, сказал он. Отправился он по белу свету и пришел наконец сюда, ко мне, и так грозно махал мечом, так стучал сапогами коваными, что я не могла удержаться от смеха, когда его увидела. Еще бы: идет по улице и руками машет, а кругом люди по своим делам торопятся. И чего это психов стали нынче выпускать на свободу, ворчали прохожие, страшно на улицу выйти. А шофер автобуса, когда увидел его на остановке, крикнул, эй, мол, с мечом на общественном транспорте не положено.

А он в ответ: плевать мне на общественный транспорт, я на коне езджу, верхом, а общественный транспорт пускай хоть совсем прогорит, по крайней мере, коню не придется дышать бензиновой гарью. Понятно, сказал шофер — и на всякий случай позвонил в полицию, но там как раз расследовали теракт, какой-то человек взорвал самодельную бомбу в учреждении, сколько жертв — еще неизвестно, коммерческое радио и телевидение соревнуются, кто назовет число побольше, покажет сцену пострашнее. В городе столько бандитов, жуликов, готовых за какую-то мелочь до полусмерти избить одинокого старика, полно ревнивых мужей, которые того и гляди убьют всю свою семью, всяких аферистов, пьяных водителей, которых не остановит ни красный сигнал светофора, ни пешеходный переход. В общем, не нашлось в полиции свободного человека, которого можно было бы сюда прислать, да и вообще это не преступление, нет у нас закона, который запрещает ездить на коне и с мечом. Посоветовали шоферу позвонить в психбольницу на горе Тюндер, потому как, судя по всему, тут не наручники и не изоляция нужны, а просто успокоительный коктейль. А еще если есть деньги, то не помешало бы какое-нибудь основательное обследование, какой-нибудь новый метод психотерапии, а полицию нечего дергать из-за чепухи. У шофера телефона больницы на горе Тюндер не было, так что он махнул рукой и уехал. Не может он стоять тут бесконечно, у него график. Кто-нибудь еще накает телегу: посмотрит в Интернете, когда он должен быть здесь, когда там, на этой, на той остановке, а он вот уже на десять минут опаздывает, и снимут с него премию, потому как общественный транспорт и без того на ладан дышит, начальство ждет не дождется повода,

чтобы лишить водителей премии, которая вообще-то полагается им по праву.

Так он и шел, размахивая руками, и никто не подумал встать у него на пути, я же смеялась и говорила, ну иди же скорей, милый, убери свой меч в ножны, нет тут ни драконов, ни саблезубых тигров, ни черного рыцаря, ни Бабы-яги, я всех их разогнала к чертям собачьим. Что-что, бормотал он смущенно, разогнала? Ну да. Ты разогнала? Я разогнала. Нехорошо это, неправильно ты поступила, это моя задача, для этого я ведь и пришел. Но и ты пойми меня, я столько лет ждала, ждала, даже ждать устала, не могла я уже оставаться со всеми этими чудищами, в глубине сырых и неудобных пещер. Не нравились они мне. А они всё приставали, мол, люби, люби нас, да я и сама видела, как тяжело им жить нелюбимыми. Они же просто сохли в бездонной пропасти нелюбви. Кого-то и прогонять не надо было, от боли он сам сбегал, кого-то приходилось-таки выгонять, если он уходить не хотел или не мог, сил не было.

Ладно, ладно, нравится мне твой ответ, и счастье твое, что назвала ты меня бабуленькой, сказал он. Ты что, не называла я тебя бабуленькой, перебила я его. Не перебивай, это сказка такая, сказал он, а ты в сказке так меня и назвала, и я не обиделся, потому что обиделся бы я, если бы ты меня дедуленькой назвала, ведь тогда я бы подумал, что ты считаешь меня стариком, из-за разницы в возрасте. Да мне и не кажется, что ты намного старше. Ты точно такой же, как я. Мы с тобой как будто ровесники. В самом деле, спросил он удивленно, и расправил плечи. Ну конечно, кто на нас смотрит, наверняка думает: эти двое просто созданы друг для друга, и никому не придет в голову, мол, начальник и секретарша, врач и медсестра, профессор и студентка или старый ко-

роль и невеста его сына. Вообще не понимаю, что тут сравнивать, при чем тут различия в возрасте...

Опять мне по душе твой ответ, сказал младший сын бедняка землепашца, и еще раз повторил: твое счастье, что не назвала меня старым дедушкой. Я думала, он наконец уберет в ножны свою грозную саблю, но нет, он все размахивал ею, сверкающая сталь сыпала искры, так что я иной раз закрывалась рукой, когда пучок лучей попадал мне в глаза. Он был герой, а герой не может убрать оружие куда подальше. Если нет дракона, острой саблей своей он рассекает воздух, уничтожая дистанцию между нами. Он подходил все ближе и ближе, ни быстро, ни медленно, в самом хорошем темпе, и наконец в прах рассыпались последние метры. Я же чувствовала, что очень уже жду его, не знаю даже, сколько времени жду. Я словно всегда его ждала, с тех пор как вообще стала чего-то ждать; мне казалось, будто я жду его вечно. Потому что само время словно бы появилось лишь тогда, когда я начала ждать.

Конечно, и раньше случалось, что кто-нибудь ради меня готов был отправиться на подвиги: раздавался стук в ворота, и привратник, само собой, открывал. Что надо, спрашивал он. Подвиг совершить ради принцессы, слышалось из-за ворот. Привратник, выглянув, сразу видел, чего претендент стоит, но пропускал. Ступай, говорил он, ступай, рыцарь, хоть ты и сам не ведаешь, за что берешься, но — ступай, а я и ворота не стану закрывать, знаю, ты через пару минут убежишь без памяти, а там — ищи ветра в поле. Именно так все и происходило. Очень уж никчемные рыцари мне попадались, маменькины сынки, а не рыцари. Саблю купят на деньги отца, перед отъездом посидят на коленях у матери, чтобы сил набраться. Перед тем как выхватить саблю

из ножен, пожуют испеченную бабушкой погачу*, а то, вместо погачи, вытащат из рюкзака пирожное с кремом: по дороге на подвиг заскочили в кондитерскую. До того были они никудышными, что не то что с драконом, а с воспоминанием о драконе не смогли бы сразиться.

Да ты же никто, сказала я одному, когда он начал было расстегивать на мне платье, потому что я как раз тоже наклонилась к нему — и вдруг почуяла на нем запах материнной стирки. Мамочка тебя умывала, мамочка кормила, как ты сможешь, такой, победить дракона. Смогу, сказал он, смогу, и я почти поверила ему — так я хотела того, чего хотел и он. Смогу, сказал он, смогу, и продолжал расстегивать пуговицы. Платье готово было упасть с меня, уже показались темные полукружья вокруг сосков — и тут дракон, который до этого тихо лежал на ковре, как послушный домашний пес, вдруг взял и разинул свою огромную пасть. Языки пламени пронеслись по комнате, у рыцаря душа ушла в пятки и там, в пятках, затаилась, дрожа. Он же меня обожжет, он же, скотина, стены все закоптит, и меня тоже, коли на меня попадет, кричал он, забившись в угол, ведь это же опасно для жизни! Твоя задача в том и была, чтобы его усмирить, ты, пародия на рыцаря. Пошел вон, сказала я ему, убирайся, откуда пришел, в детскую сказку, где тебя кормят и поят, где мамочка вечером укладывает тебя в постельку и поправляет на тебе одеяло. Куда тебе с драконом сражаться. И с чего ты взял, что достоин меня получить? И бросился он бежать, благо ворота были еще

*Популярный у венгров вид выпечки, нечто вроде подсоленного коржика (происходит от итальянского focaccia — лепешка). Погачу брали в дорогу, как у нас — сухари. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

открыты, и привратник хохотал, глядя ему вслед, дескать, этому не с драконами сражаться, а в соревнованиях по бегу участвовать, эвон как летит, аж пятки сверкают.

На четвертый раз, да, на четвертый раз пришел настоящий витязь. На третий раз, сказал ты, потому что такого числа, четыре, в сказке не бывает. Ладно, на третий раз, сказала я, пускай так, всякие мелкие попытки не будем считать, да я про них уже и забыла, а если я их не помню, то их, собственно говоря, и не было. Но они же были, сказал ты, хмурясь, и немного скривил губы. Ты что, ты меня попрекаешь, сказала я удивленно, в сказке герой не должен быть мелочным и ревнивым, будто мы совсем не в сказке, а в самой обычной повседневной жизни. Ладно, ладно, я не в том смысле... просто мне в самом деле неприятно, что они были. Что поделаешь, с каждым случается, продолжала я, вот я же не поминаю всяких твоих, как их там звали, Илушки, Юлишки, не поминаю годы, которые ты прожил со злыми ведьмами. И вообще, заранее ведь не различишь, какой окажется попытка: мелкой, мимолетной или, наоборот, значительной. По крайней мере, я так думала, что не различишь, а на самом-то деле все видно, просто в первые моменты не до того, чтобы вглядываться. Всегда ведь хочется думать, что попытка, эта или та, — попытка серьезная, хотя каждый раз можно довольно точно знать, что этот или тот рыцарь лишь по определенным причинам получил возможность ко мне подойти. Например, из-за какой-то обиды, которую я не смогла простить, или потому что кто-то порвал со мной неожиданно. Словом, в такую вот ситуацию, в такую обиду как раз и попал кто-то из них. Или потому что уж очень давно не было у меня никого, так что вся самоуверенность

моя сошла на нет, и тут, конечно, как нельзя кстати появился этот мужчина, который, пускай на время, поставит на место то, что готово непоправимо рухнуть. Вот в таком роде... Мне уже больше тридцати, и не бывает на свете такой принцессы, у которой за столько времени не набралось бы целой армии рыцарей, обивавших ее пороги, — причем в большинстве своем, конечно, рыцари эти так себе. Не понимаю я эту сказочную хренотень насчет драконов и всяких ненастоящих рыцарей, фальшивых витязей, сказал он немного обиженно. Но ведь это же ты начал сказку про младшего сына бедного землепашца. Ну да, я, но это же было логично и понятно, сказал он, а тут у тебя наворочено всякой несуразицы, такую сказку дети вообще не поймут, потому что персонажей в ней целая куча, к тому же все они неприятные. А где положительный герой? Он как раз на подходе, остальные — это все было так, присказка, сказала я, только подготовка к триумфальному появлению настоящего рыцаря.

Он пришел на четвертый раз, то есть на третий. Дракона уже не было: мне исполнилось тридцать, когда я последнего прогнала. Не надо меня стеречь, сказала я, и он, бедняга, жалобно взвыл в сердечной камере, потому что он там был заперт. Последнего — ну или того же самого в последний раз, потому что не уверена я, что речь идет не об одном и том же драконе, который всегда найдет способ пробраться в сердце обратно, как и отец — один, тот, который в детстве кажется витязем и защитником, потом — надежной опорой, а в конце — всего лишь надзирателем, который придирчиво изучает проходящих и уходящих из квартиры. Ты только распугиваешь мне всех, сказала я последнему, и он досадливо дохнул пламенем. Если я не буду тебя охранять, ты в

два счета себя потеряешь, если я не буду тебя охранять, ты станешь добычей первого же рыцаря, которого занесет в эти края, и даже не заметишь, что он тебя недостоин. А если я не уберу защитные укрепления, сказала я ему, никто не проникнет в мое сердце, если я не прогоню тебя оттуда, никто не сможет обжечь пустые помещения. Я — защита и жизнь, сказал он. Нет, сказала я, ты — только защита, а к жизни ты как раз и не подпускаешь меня. Хочешь, чтобы от тебя ничего не осталось? Хочешь первому незнакомцу швырнуть то, что ты есть? Хочу, сказала я. Плоть мы удовлетворяли и до сих пор, пока я был с тобой, сказал он, так чего ты еще хочешь? Плоть — это не все, ответила я, мне нужно больше, уходи и оставь городские ворота открытыми, оставь открытыми палаты моего дворца. Тогда дракон помрачнел, вот, всегда так, сказал он, я хочу как лучше, а в конце мне же приходится убраться. Ладно-ладно, наплачешься еще ты без меня. Будешь еще умолять, мол, драконушка, вернись, пожалуйста, но будет поздно, я уже буду за тридевять земель. Тогда ты поймешь, какую роковую ошибку совершила, расторгнув заключенный со мной контракт о защите. Многоглавый и многолапый, он еще потоптался немного, вдруг я передумаю, потом взмахнул крыльями и улетел, чтобы стать стражем сердец других девиц, таких, которые еще заслуживают охрану, у которых еще есть деньги и, не в последнюю очередь, запас времени на то, чтобы их охраняли.

Меня учили, что каждый рыцарь — объект торга: если надо, мы с ним торгуемся. Если необходимо, чтобы сделка была заключена, она и будет заключена. Дареному рыцарю в зубы не смотрят, говорили мне, каков есть, таков есть, просто он тот, который

в нужное время оказался в нужном месте. Вот мы с ним и торгуемся, ведь здесь оказался именно этот рыцарь, с кем же еще торговаться, если не с ним. В жизни каждой принцессы появляется какой-нибудь рыцарь, причем точно в тот момент, когда должен появиться. Если же он — не само совершенство, — а, полно, кто в нашем мире совершенство. Отец твой — тоже нельзя сказать, что совершенство, а все же трое детей у нас родились, сказала мать принцессы, и как-никак прожила я с ним жизнь. Ну да, он был король, но вообще-то не ахти что. Не было у него ауры, и воздух вокруг него не фосфоресцировал, сидел он на троне в облаке воню, из-за газов, вырывавшихся из его тела: от жирной пищи уже в молодости у него испортилось пищеварение, но я и с этим смирилась. Постепенно забыла даже, что такое настоящий чистый воздух, а когда случалось поехать на экскурсию, на природу, я чуть легкие себе не отхаркивала, до того кашель мучил от свежего воздуха, богатого кислородом. Совсем от настоящего воздуха отвыкла. Дедушка твой тоже не был таким уж... Каким, спросила я. Совершенством, сказала бабушка, а все ж таки... Но теперь я, слава богу, одна. Выпало на старости несколько спокойных лет, не надо больше прыгать вокруг того старого блудливого кота. И во дворце свободней стало, как его нет. И на кровати удобней одной-то. Ох, мама, не стоило бы про папу так говорить, тем более после его смерти, сказала мать. Ладно, знаю, сказала бабушка, тебе он отец, но что я могу поделать, мне-то он мужем был... И в этом утверждении единственный позитив — то, что был.

Нет, сказала я, тот, который мне нужен, предметом торга не может быть, и не о чем тут торговаться: тот, кто мне нужен, будет именно тот, кто

мне нужен, и он будет моим бесплатно, потому что платой ему буду — я. Кто угодно может быть — я, и кто угодно может быть — он, сказала бабушка, и еще сказала: это которого рыцаря мы уже прогоняем? Тот, последний, ей очень нравился. У предпоследнего нос был очень уж большой, не хочет она, чтобы правнуки у нее были с такими носами, но вот последний, тот — точно как надо. И вести себя умеет, и вкус у него есть: после обеда у бабушки он сказал, все было очень вкусно, просто пальчики оближешь, в общем, знает, что такое хорошая еда, вкус у него прекрасный. Я пока жду, сказала я, жду такого, кто будет точно таким, какого я жду. Только не преувеличивай, внучка, а то ведь ждешь, ждешь, да и прождешь. Не прожду, сказала я, не бойся. Случалось уже такое, сказала бабушка, знала я кой-кого, та то же самое говорила, что и ты, а в конце концов у них и детей не родилось. Хотя для этого дела мужчина и нужен-то на каких-нибудь десять минут, вместе с раздеванием и одеванием, а потом — будь здоров не кашляй. Оно даже и лучше, что не будет у ребенка отца, для чего-то же мы тут сгодимся, мы трое. Ах, мама, сказала мать, все ж не стоило бы так говорить. Почему же не стоило бы, давай будем реалистами, даже сказка правдива лишь тогда, если есть в ней реальные элементы, а это — уже один реальный элемент. Мужчина для чего нужен? Чтобы сделать свое дело, а после этого он — обуза только. Ну, может, если хоть деньги у него есть, от него какая-то польза, и то если он не жмот, а так — для чего? Но, мама, сказала мать, ей же еще только предстоит то, что у нас с тобой уже позади, ей — еще волшебство, праздник, а для нас — разгаданный трюк. Ох, ладно... только не хотелось бы мне умереть, не увидев правнуков, словом, лучше с этим поторопиться-

ся. Время — штука относительная. Ты еще молода, обернулась она ко мне, всего тридцать с чем-то, но для одинокой это кажется больше, чем для женщины с двумя маленькими детьми.

Бабушка оказалась почти права: годы шли, а настоящего рыцаря все не было видно в окрестностях. Да и годы после тридцати в самом деле понеслись вскачь: снова осень, снова зима, снова весна и снова лето, и моргнуть не успеешь, а год прошел. Может, неправильно я решила, с этой мыслью ложилась я спать каждый вечер. Может быть, может быть, может быть, может быть... И тогда я стала вспоминать, кого я прогнала, и иногда думала: нет, теперь бы я этого уже не сделала. Какая-нибудь дурацкая обида, или в каком-то споре он стал на сторону своей матери, или часто уходил на какие-то тренировки, то ли по пятиборью, то ли по чему там... семиборью, что ли, да хоть бы и двадцатидноборью, а меня, конечно, с собой не звал, говорил, как-то неловко, это у них не принято, это всегда только с друзьями.

Сегодня я бы уже так не сделала, думала я, глядя на фотографию: видно было, что я перед этим плакала, потому что тот рыцарь, тот королевич, не хотел спорить со своим отцом, королем, не решился твердо сказать ему, что на этот уик-энд выбирает меня, а не какую-то там работу во дворце. Не посмел из-за меня рисковать наследством, из-за какой-то любви полцарства потерять. Потом мне вспомнился случай с другим рыцарем, было это в городе, во дворце, на четвертом этаже, мы лежали с ним в постели, была полночь или только-только миновала, дыхание его, прямо мне в лицо, я чувствовала пар от его дыхания и сказала, что нет, не будет того, о чем он думает, сколько ни гладит он мою кожу рукой, огрубевшей в обращении с оружием. Пускай любит меня

не за мое тело. А потом как-то я увидела его с другой девушкой на улице, недалеко от дворца. Видно было, девица эта такая, тело которой без особых усилий может заполучить любой. И я накинулась на него, вот на кого ты меня променял, на эту, на второстепенный персонаж, которая лишь случайно попала в сказку, потому что рядом с принцессой нужны придворные дамы или потому что случайно забрела в волшебный дворец! Я колотила их и кричала, слезы лились по щекам, в конце концов они позвали полицию, или только собирались позвать, уж не помню, голова у меня была такая, что я чувствовала только боль, которую они мне причинили, и хотела выбить из себя эту боль, колотила их, чтоб было больно им, а не мне.

В общем-то я никого из них не любила по-настоящему. Были они — и была я, и я всегда следила, чтобы оставалось что-то, что только мое и никого больше не касается. Прости, сегодня не могу, говорила я, когда он звонил, — давай завтра. Я вижу, ты без меня прекрасно обходишься, говорил он. Да нет, что ты, говорила я, хотя и на самом деле прекрасно без него обходилась. Все они нужны мне были только наполовину, но я наполовину — им этого было мало. Сегодня я так не сделала бы, думала я и с завистью смотрела на тех, кто способен был все-таки сторговаться и кто таскал в животе или возил на детской коляске, по извилистым аллеям парка, то, ради чего и был затеян торг.

Именно это я чувствовала, когда в последний момент появился наконец настоящий герой. Пришел, рассекая воздух своей сверкающей саблей, и я увидела: да, это точно он, и он тоже сказал, да, вот о ком я мечтал, вот об этой принцессе. Рискованно, правда, было расхаживать по городу с оружием, когда,

из-за угрозы террора, повсюду за тобой следят камеры, а стоит тебе случайно вымолвить имя Аллаха, тебя засекут американские тайные агенты, — но оно того стоило. Ведь зато ему выпало прийти и получить свое, и все то, чего ему не хватало, чего он всю жизнь с нетерпением ждал, сразу было ему дано, сейчас, в этот момент.

Притянула я к себе голову младшего сына бедняка землепашца, положила ее к себе на колени. Смотрела я на его лицо, на его тело, и его тонкие руки казались мне мускулистыми, худые ноги — крепкими и надежными; потом посмотрела я на его сердце. Сердце его было — как ободрванное колено, как разбитый локоть, когда мальчишка падает с велосипеда. Вся кожа содрана, сплошная рана была его правая нога и левая нога, правая рука и левая рука, и локти, ладони, и колени, и вообще все, потому что его несколько метров протащило по бетону, — вот каким было это сердце. Оно билось, но все было в ранах. Господи Боже, что с тобой случилось, спросила я, но он не хотел рассказывать, откуда у него все это и почему вышло так, что старые, многолетние раны не заживают, как свежие, только что полученные. Он ничего не говорил, просто лежал, притихнув, у меня на коленях, подобно тому, как какой-нибудь испуганный звереныш прижимается к теплому телу матери.

День проходил за днем, я видела, как раны эти от поглаживаний моих начинают быстро заживать; он уже не был молод, организм же его оставался свежим, словно долгие годы только этого и ждал, этих целительных прикосновений. Исчезли шрамы, в сердечной камере не осталось ни одной осыпающейся перегородки, ни трещинки, ни крохотной, прогрызенной мышами дырки.

Ну вот ты и здоров, самый смелый рыцарь моего царства, кто, даже весь израненный, промчался, размахивая саблей, по стольким улицам, по стольким площадям, сказала я. Теперь ты не болен. Давай же посмотрим, на что способно выздоровевшее сердце! Если в нем, израненном, нашлось столько сил, что оно привело тебя сюда, каких же свершений от него можно ждать, когда оно здорово? Давай же, наполняй мной, пока солнце ходит по небу, каждую минуту жизни, и посмотрим, каково это. Пускай два мира, два времени, твое и мое, сливаются воедино! Перед внутренним взором моим сияют годы и годы, которые мы проведем вместе, годы, когда время ни на шаг не отклонится от нашей сказки, не обрушится на нас, чтобы раздавить, уничтожить, но примет в свои ласковые объятия, годы, когда мы будем жить в сказочной нашей избушке, и у нас родятся сказочные дети, и для всех наших друзей, стоит им только взглянуть на нас, это будет как мирная вечерняя сказка, — не какие-то там хитроумные похождения короля Матяша, не грустные истории про оставшихся ни с чем волков, про обманутых большеглазых оленей, про покинутых фей, про Янчи и Юлишку. После долгих, лишенных света годов начнется эпоха светлых времен — ведь каждое мрачное время проходит потому, что уступает место времени яркому, сказала я. Давай же руку, пойдем.

Да, да, я готов, ведь руки мои без тебя слабеют, ноги подгибаются, сердце вновь покрывается ранами, сказал он. Иду, ведь та жизнь, в которой не было тебя, это была не жизнь. Иду, сказал он, и каждый раз добавлял какую-нибудь причину, почему, собственно, нужно, чтобы он пошел со мной, и почему никак невозможно, чтобы не пошел. Но проходил день за днем, а он все так и оставался на пороге.

Топтался на месте, как арестант в крохотной, размером в пару дюймов, камере, как Балинт Тёрёк* в Семи башнях.

Иди же, говорила я, иди, да закрой за собой дверь, иначе ветер ворвется и выдует тепло из комнаты, и проберутся, оттеснив тебя, злобные черные рыцари, похитят что-нибудь или меня похитят. Он не отвечал, лишь топтался на месте, как нерешительный странник на распутье, вокруг своей, медленно сокращающейся тени. Не говорил, мол, снаружи слишком холодно, внутри — слишком тепло, снаружи — слишком просторно, внутри же — наоборот, лишь повторял время от времени, иду, сейчас, иду, подожду только, пока погаснут на небе звезды, подожду, пока солнце воссядет на золотую колесницу, а к вечеру соблазнит луну, подожду, пока... — говорил он, но в голову ему ничего больше не приходило. И он все топтался на пороге и молчал, и растерянно смотрел в глубь комнаты, где была я, и видно было, что он и уйти не смеет, и войти боится.

Типичный случай, говорили придворные дамы, которым известны были все интриги, случавшиеся вблизи и вдали. Типичный случай — у него и в мыслях нет менять свою жизнь, то, что есть, его вполне устраивает: дома — уют, привычная обстановка, чистая квартира, постиранная одежда, сияющий тронный зал, зато тут — компенсация. Дурак он, что ли, все ставить на карту; да мало ли как оно обернется: вдруг — новый ребенок, новый дворец, новый кредит, и потребуется куча золотых талеров... Нет, не желает он ради кого-то жертвовать всей остав-

*Балинт Тёрёк (1502–1550) — венгерский магнат и военачальник. Во время турецкого нашествия попал в плен к туркам и последние восемь лет жизни провел в заключении, в стамбульской крепости Едикуле (Семь башен).

шейся жизнью, до последнего вздоха. Для него это не подарок судьбы, а новый груз, новая морока, а ему хорошо как раз так, это для него — максимум, на большее он не отважится. С этого он ведь и начал, ты сама рассказывала, что он и не хотел иного, кроме как некоторой компенсации за чувства, которых его лишили. Не концерт на весь вечер, а выступление на бенефис, те несколько номеров, которые оркестр играет после основной программы, уже без всякой ответственности, как бы для собственного удовольствия. Просто вы мне завидуете, отвечала я, потому и говорите так, не по себе вам, что мне хорошо. Такому завидовать, говорили они, да нечему тут завидовать, и, если бы я читала не только сказки, я бы сама увидела, что в девяноста девяти случаях из ста именно так и бывает. Он не лучше всех остальных. Нет, говорила я, он не такой, он как раз — один из ста, и мне все равно, с чего он начал, ну да, я и сама помню, он в самом деле сказал, что будет любить меня, но ничего не хочет менять, если так устраивает, пусть будет так, а если нет, то чтоб я искала кого-нибудь другого. Все равно, говорила я, что там было, в самом начале, а сегодня это любовь, вот и все. И ничего мы с этим не можем поделать, ни он, ни я, чувство растет, растет, и вот результат. Он должен быть со мной, ведь он нигде не найдет такой, как я, и я не найду такого, как он. Бывает так, что душа человека разорвана, и ты чувствуешь это, и долгие годы ищешь, и наконец находишь вторую половину, бывает такое. Нет, говорили они, не бывает. Ты только потому находишь эту, так сказать, вторую половину, что как раз достигла того возраста, когда должна найти. Обязана. Все это — биология. Нет уже у тебя времени, чтобы искать, выбирать, до сих пор еще было, но — кончилось, и это снижает

требования, и ты сама уже не замечаешь, сколько уступок делаешь. Видишь совершенство в том, кто ни на грошик не совершеннее прежних. Пробили твои биологические часы, и, когда звук этот достиг твоих ушей, он как раз оказался там, — вот только об этом и идет речь. Нет, отвечала я, не было никакого звона, и я, независимо от каких-то там часов, именно сейчас нашла его, и не знаю даже, те, кто был до сих пор, зачем они были, если появился он. Если бы было так, как ты говоришь, убежденно возражали мне, то каждый всю жизнь ходил бы и искал, потому что одной жизни недостаточно, чтобы найти в мироздании свою половину и соединиться с ней. Биология, говорили они, простая биология. Если ты нашла именно его, это тоже закономерно, ведь выбирать тебе почти не из кого. Чувство растёт пропорционально уменьшению биологических шансов. Вашу любовь можно описать простыми законами биологии и социологии: женщина, которая в последний момент хватается за того, кто попадет под руку, и мужчина, которому наскучила домашняя рутина, — и можно точно просчитать, что надо делать, чтобы эти законы дали благоприятный для тебя результат. Что-что, какой еще результат? Скажем, беременность. Чтобы я — забеременела? Ну да. Случайно, что ли? Сделать вид, будто случайно, спросила я. Все так делают, говорили они, иначе никогда ничего не изменится. Конечно, тут тоже есть риск: вдруг он скажет, что не может взять на себя ответственность, признать отцовство — потому что он же этого не хотел. Тогда придется тебе мучиться с ребенком одной, но, по крайней мере, будет реальный результат, значит, не зря прошли те несколько лет, которые ты на него затратила. Нет ничего нового под луною, правда ведь. Но я так не хочу, говори-

ла я, и во мне всплыло воспоминание, когда я вдруг почувствовала, что случайность, кажется, все же произошла. Он в ужасе отстранился от меня, словно кто-кто, а он никакого к этому отношения не имеет, и даже не понимает, как он попал в эту историю. Я сказала, что сделаю тест. Ладно, сказал он, и сделай как можно скорее, потому что ему нужно знать... и вообще, для него это очень уж... неожиданно. Голос его стал чужим, словно это был вовсе не он, а какой-то совсем незнакомый человек, да еще на многокилометровом расстоянии. Нет, сказала я после теста, ложная паника, просто задержка. Мышцы на его лице смягчились; он снова меня любил.

Нет, на такое я не решусь, сказала я подругам. Тогда найди замену, сказали они. Сама знаешь, с каждым днем у тебя на замену все меньше шансов. Ну да, карты так легли, что в этой раздаче он тебе выпал, а ты уж чувствуешь, что свет на нем клином сошелся. Это вроде как если бы ты отдала старую машину в ремонт, уйму денег вбухала, да сверх того еще сколько-то, ведь механик, он тебя насквозь видит, он понимает, что из тебя сколько угодно можно вытянуть, потому как ты в этих делах ни ухом ни рылом, — а после этого тебе с машиной совсем жаль расстаться, хотя ты точно знаешь, через полгода, чтобы она как-то ездила, тебе снова придется выкинуть кучу денег, хотя куда разумней было бы купить новую... Ты ведь и так уже слишком много времени и душевных сил потратила на эту историю. Видишь ведь, не хочет он идти у тебя на поводу, упирается, а если не хочет, отпусти его. Только не упusti последний момент. О своем потерянном времени ты сама должна переживать, его все это не интересует, он-то ничего ведь не потерял. И не морочь себе голову этой дурацкой сказкой!.. Вот что говорили мне

подруги, которые давно уже вышли из царства сказок, разве что изредка, потеряв много крови на всяких способах самолечения, еще забредали на какой-нибудь сеанс сказочной терапии, где коллективным самосозерцанием руководит тертый терапевт-гуру. Роль они могли выбирать себе сами. Конечно, каждая хотела быть такой женщиной, ради которой целая армия принцев готова переломать себе руки-ноги. В конечном счете все-таки оставался тот факт, что на протяжении этой сказочной терапии никто, никто, даже случайно, не вскидывал ради них саблю.

Ни на что не надейся, говорили изгнанные из сказочного царства подруги. Сколько раз, например, со мной было такое, а результат! И принимались пересчитывать случившиеся с ними и услышанные от других истории. Каждую историю при этом они поворачивали в таком направлении, чтобы она подтверждала их правоту: ведь ничто не препятствует человеку строить свои рассуждения таким образом, чтобы актуальные и необходимые с точки зрения жизни ложные утверждения выглядели самыми что ни на есть убедительными истинами. Лучше всего, если бы ты начинала осматриваться вокруг, пока еще можно, потому что наступает такой момент, когда ты приходишь куда-то, но уже никто не подымет на тебя взгляд, а если подымет, то тут же испуганно отведет и станет или на свое пиво смотреть, или поищет глазами какую-нибудь женщину помоложе и на ней будет лечить свой, травмированный тобой взгляд. Ну тогда, значит, конец истории, тогда заканчивается вся наука и «Тысячи и одной ночи», и Андерсена, а этого тебе все же не стоило бы дожидаться.

Нет, говорила я, то, что у нас, это совершенно другое. Брось, ничего не бывает другого, все всегда

то же самое, говорили они. Нет, в самом деле, наша жизнь — это словно какая-нибудь сентиментальная песня, *Love me tender**, или *I'm a believer***, или *Oh, my love for the first time in my life****... Господи Иисусе, да что с тобой, перебила меня одна из подруг, такого даже в гимназии не бывает, разве что в средней школе. Или в начальной, со смехом добавила другая. Ладно, знаю, звучит глупо, но я действительно так чувствую. Никогда бы не подумала, что песни эти могут быть правдивыми, говорила я. Они переглядывались, мол, что это с ней, а я все говорила про свои чувства, и еще всякое другое, например что мы такие идиотские имена даем друг другу, вроде крошечка моя, или кошечка моя, или мышка моя, в общем, всякие зверьки, растения, мелкие штучки, и когда мы их говорим, то в самом деле звучит так, будто по-другому и сказать невозможно. Что-что, говорили они, кривя губы. А вот то, что это именно те слова, которые подходят другому, тому, который в тот момент и есть другой. Они молчали, ждали, что я скажу еще. Я отпила чаю. И что исчезло чувство, будто вокруг все чужое, сказала я. Какое еще чужое, ты о чем, спросила одна. Ну, в общем, пока этого не было, сказала я, мне все время казалось, будто есть я, а есть другие, будто весь мир — такой... словом, опасный, вроде как ты заблудилась в джунглях и всё вокруг тебя, и люди, и все, только и ждут, чтобы броситься на тебя и растерзать. Господи Боже, как же тебе, должно быть, скверно было, раз ты такое чувствовала, сказали они и попеняли, что я никогда им об этом не говорила. Да чего

* «Люби меня нежно». Песня Элвиса Пресли.

** «Я верю». Песня Нила Даймонда.

*** «О, моя любовь, впервые в моей жизни...». Песня Джона Леннона.

там, сказала я, зато теперь все другое. Другое? Какое же, спросили они. Такое, будто я дома и думаю не о том, что за ужас вокруг, а о том, до чего славно, что все именно так, до чего хорошо, что вокруг меня — эти дома, эти улицы, эти люди, говорила я; но говорила все тише, потому что увидела вдруг: сказочный рыцарь мой стоит в дверях и — ни туда ни сюда. Третий сын бедняка землепашца так все и топчется там, на пороге, ни войти не решается, ни уйти, словно прибит к порогу каким-то огромным гвоздем.

Долго ты будешь стоять там, долго еще будешь ждать, крикнула я ему. Время идет, дверь ведь может хлопнуться; если поздно решишься, то уже не войдешь, наткнешься на запертую дверь, вместо нежного сердца принцессы разобьешь лоб о неструганные доски. Иду уже, иду, сказал витязь смущенно и передвинул одну ногу чуть-чуть вперед, словно волк в какой-нибудь сказке, испугался, наверно, что лишится сокровища, которое он искал много-много лет и наконец нашел, — вроде того драгоценного камня, который турки нашли в Будайской крепости и называли его Джигердилен, то есть отрада сердца. В общем, напугала его возможность утраты, но дальше он все-таки не шагнул; правда, и дверь пока еще оставалась открытой. Ни сквозняк ее не прикрыл, и ни я не хлопнула изо всех сил, как столько раз до этого перед носом прежних рыцарей, которые часто вынуждены были уносить ноги, зажав разбитый нос ладонью. И, ввалившись в первую же корчму, жаловались, дескать, эта принцесса — чистая идиотка, да и все эти аристократы — сплошь идиоты, потому что женятся меж собой. А ведь я ей честно сказал, возмущенно стучал кружкой по столу несчастный рыцарь, вот, мол, смотри, здесь я, и оба мы хо-

тим одного и того же, а она в ответ ка-а-ак шарахнет дверью, вот, нос мне разбила, мать ее так. Но в этот раз — нет, не захлопнула я дверь. Осталась дверь открытой трижды, осталась открытой семь раз, осталась открытой столько раз, сколько магических чисел бывает в сказках: не хватило у меня смелости ее захлопнуть. Страшно было: если захлопну, вдруг не станет он стучаться, мол, ну хватит, пусти же, сколько можно, — а повернется и уйдет домой, и конец сказке. В общем, была я, как дети, которые сердятся немного на телик, что закончилась детская передача и начинаются новости, или на мать, когда она закрывает книгу, дескать, умер Андерсен, и сказочке конец, а кто слушал... Потом они успокаиваются и засыпают в своей кровати.

Смотрела я на дверь из глубины комнаты, блестя у меня глаза в темноте, но уже не от любви, но от вечно набегающей влаги. А он стоял, возвышаясь в дверном проеме, и наружный свет окружал его радужным ореолом. Ран на нем уже не было. Раны зажили, думала я, так зачем ему идти ко мне? Лежала я в постели одна, потому что ночью я одна была, когда он, вылечившийся, лежал где-то там, рядом с кем-то, и, наверное, там говорил те слова, которые должен был бы говорить мне. В темноте ведь не видно, с кем разговариваешь, в темноте достаточно высказать, что у тебя на сердце. Он только излечиться хотел, думала я в своем одиночестве, в постели, которую какое-то время считала нашей постелью, но оказалось, что ничего подобного. Это — моя постель, это — моя квартира, от него же осталось тут не больше, чем после ремонта от рабочих: отпечатки рук. Только излечиться, думала я, а когда ты вылечился, ты же не поселяешься в больнице. Если ты выздоровел, то бежишь оттуда, чтобы не чувство-

вать больше того особого больничного запаха, чтобы не видеть одетых в белое санитаров. Кто же захочет вечно жить в окружении всякой медицинской аппаратуры, в ожидании утреннего обхода, со стонущими или храпящими соседями по палате, которые вместе с тобой ждут выздоровления и клянутся себе: если выберутся отсюда, будут радоваться всему, самым мелким вещам, травинке, солнцу, которое светит в окно, ужину или хотя бы тому, что ты все еще жив. Так я размышляла, и крутилась у меня в голове горькая мысль, что я — это нечто вроде лечебной процедуры, в которой после выздоровления уже никакой необходимости нет. Дальнейшая жизнь, как это и рекомендуется нормами здравоохранения, проходит в другом месте: другое здание, другой город, другой персонал.

С какой стати ему ко мне приходить, говорила я себе, лежа одна в постели, терзаемая невыносимой болью, потому что быть одной, когда ты кого-то любишь, это самое невыносимое. Я часто думала: лучше бы я не встретила его, лучше бы жила прежней жизнью, когда чувствовала почти облегчение, если кто-то, кто появлялся с намерением полюбить меня, уходил неведомо куда. Хорошо все-таки, что он ушел, думала я, радуясь, что могу лечь спать одна, когда хочу, сама включаю или выключаю телевизор, что не должна терпеть ничей запах, что не приходится наткаться ни на чью разбросанную одежду... На этот раз было по-другому: всю ночь он был со мной, причем так, что его со мной не было. Со мной было — его отсутствие. С какой стати ему приходить, говорила я себе, и желудок сводило судорогой; потом думала: что значит с какой стати, да с такой, что он меня любит. Ну и что, что любит: прийти он не может, что-то его держит там, на ногах у него

свинцовые ядра, на груди — кусок тяжелого рельса, или просто у него нет ключа, а кто-то случайно закрыл его снаружи.

Посмотри на меня с одной стороны, говорила я ему, посмотри с другой, — каким персонажем являюсь я в этой сказке? Бывают ли сказки, где принцесса состоит в тайной связи с тем, кого она любит, пока смерть не разлучит их? Возможно ли представить такое, чтобы принц выхватил саблю из ножен не ради чистого чувства, а боролся ради того, чтобы ложь оставалась и торжествовала? Потому что неправда то, что есть, понимаешь, неправда. Ты уходишь из нашего тайного времени, и я пропадаю, я чувствую, что меня нет. Ты убиваешь меня ежедневно, ежедневно даешь мне отравленное яблоко, ежедневно стираешь с лица земли. Сколько раз могу я возродиться? Сколько раз буду способна на это? Что будет, если ты однажды утром придешь, а я уже не оживу? Он сказал: дай мне еще столько-то и столько-то времени, и тогда, скажем, в какой-нибудь определенный день, я приму окончательное решение.

Конечно, не принял он никакого окончательного решения.

Ну что, спросила я. А что, спросил он. Речь ведь шла о сегодняшнем дне. Ага, сказал он, но это все же не самый лучший день, или, скорее, как он выразился, не самый подходящий. Ты сам его назвал, сказала я. Именно потому: это ведь не какой-то объективный срок, он просто так сказал, мог бы назвать какой-нибудь другой день, лишь случайно назвал именно этот, так что не надо от него требовать, мол, вынь да положи окончательное решение. Тогда, сказала теперь я, пусть будет начало месяца, первый уик-энд, пусть это будет последний срок. Терпеть не могу, когда ко мне вот так, с ножом к горлу, ска-

зал он, именно от принуждения, от ограничений, от вечных претензий, от навязывания решений я и стараюсь убежать. А моя жизнь, она не в принуждении, не в ограничениях проходит, спросила я. Ты ведь знала, что это значит, когда у человека есть такая штука, которая называется — семья. Я же сразу сказал: или с этим, или никак. Да, но с тех пор все иначе; не может такого быть, чтобы время, проведенное вместе, оказалось выброшенным временем. Почему же оно выброшенное, спросил он. А вот почему: то, что мы пережили, было прекрасно, если ж ты так не считаешь, тогда, в самом деле, это время можно считать выброшенным, впустую потраченным. Что же, по-твоему, мое время не было потрачено, сказал он. Но если не идти дальше, то все становится недействительным, и тогда эта большая любовь была только чем-то временным, и я не была принцессой, и ты не был светлым витязем, я была — просто женщина, а ты — просто мужчина, один из многих, сказала я. В общем, первый уик-энд такого-то месяца, воскресенье, вечер, скажем, самое позднее до полуночи. И тогда ты собираешь свои вещички, там, где, насколько я знаю, ты и до сих пор через силу находился, связываешь их в узел, надеваешь свои сапоги-скороходы и — прямиком ко мне. Ладно, сказал он; но, когда наступил тот день, он пришел ко мне, как приходил всегда, как в те дни, которые мы тайно проводили вместе. Вернуться он смог только в тайну, будто какой-нибудь шпион, жизнь которого прекращается в ту минуту, когда его раскроют, потому что с той минуты ему уже невозможно быть тем, кем он был до того. Вот и он живет в тайне, пока это для него хорошо, и вся моя воля, вся моя тяга к свету рассыпаются в пыль, натолкнувшись на его волю.

Дни напролет мучиться боязнью, что я больше не смогу жить в тайне, но и клетку сломать не по-

смею: ведь тогда я потеряю его, а этого мне не вынести. Мучиться ночью, и мучиться потом, постоянно, даже когда я с ним: страх в душе моей и тогда не ослабевает. Добро уже не одерживает триумфальную победу над злом; соотношение сил и во мне, и в нем окончательно изменилось в пользу плохого. Он тогда сказал, что просит месяц, чтобы за это время собраться с силами и двинуться новым путем, по которому, как он и обещал, мы пойдем вместе, рука об руку. Семья, те, кто дома, какое-то время обо мне уже знают, так что ему предстоит не огорошить их новостью, а всего лишь попрощаться. Почему тебе легче будет собраться с силами, если меня не будет рядом, спросила я. Потому что, сказал он, потому что... Он долго не мог найти слова. Потому что тогда ему проще будет сосредоточиться на том, что он должен делать, и не нужно будет распылять силы, раздваиваться. Ладно, сказала я, принимая это объяснение, потому что уже не могла больше. Пусть будет так, сказала я, хотя втайне знала, что он собирает силы для разрыва, а не для того, чтобы двинуться по общему пути. Каждый день я чувствовала: ну вот, он опять стал чуть-чуть сильнее, опять оборвал одну жилку из связывающего нас каната, хотя канат нас все еще держит. Целый месяц держался этот канат, он никак не мог его разорвать. А потом, в последний день, сумел все же. Ножницы были спрятаны в одном письме; да, собственно, канат был уже таким тоненьким, что хватило бы и простого ножа для разрезания бумаги. Я стала читать письмо, и ножницы сработали, разрезали последнюю нить, а в конце вонзились мне в сердце.

Не думала я, что снова его увижу. Он вернулся в старый дворец, где, как он говорил, воздух такой спертый, что он едва может дышать; тщетно он

открывал окна, устраивал сквозняк, спертый воздух и запах оставались, и тогда до него дошло, что это запах старости, запах его собственного старого тела, запах старого тела жены, запах старой мебели и старой одежды, — он бежал от этого запаха, чтобы в конце концов вернуться туда же. Как не был он способен исцелиться от ран — скорее готов был пожертвовать выздоровлением, — так не мог расстаться и с тем застоявшимся, спертым воздухом, с ощущением, что задыхается. Он мог жить лишь задыхаясь, к этому он привык, это означало для него дом. Он не знал, каково это, быть счастливым, он всегда засыпал еще до того, как сказка кончалась, доживал он лишь до испытаний. Он думал, что быть счастливым — это не для него; или, возможно, дело было лишь в том, что без той дозы боли, к которой он привык у себя дома, он уже не мог жить. Со мной он не чувствовал себя хорошо именно потому, что чувствовал себя со мной очень уж хорошо. Подобно тому, как свежий, богатый кислородом воздух терзает прокуренные легкие, так он страдал от радости, которую чувствовал, когда был у меня. Он был младшим сыном бедняка землепашца, который не то чтобы не обрел трон, получив полцарства: нет, на него внезапно обрушилось все царство, хотя он-то привык к пахоте, к севу, только не к царствованию.

Не знаю, что с ним стало там, на старом месте. Да это меня и не интересовало. Может, его похвалили, мол, ах, как ты здорово решил, славный рыцарь, — может, устроили празднества по случаю его возвращения, а может, даже закатили грандиозный бал со старыми друзьями, с почетными гостями, со всеми главными и второстепенными персонажами сказки, — кроме меня, конечно. Или наоборот, за авантюру, которой он подверг риску всю прежнюю

жизнь, он был наказан. И жена при каждом удобном случае трындела ему, дескать, радуйся, что я после этого еще соглашаюсь стирать на тебя и готовить тебе обед. А дети перешептывались у него за спиной, мол, смотри-ка, неужто это и есть тот отец, о котором они думали, что он — непобедимый витязь, надежная опора, на которую можно возложить сколько угодно жизней, ну как минимум их жизни, и вот смотрите-ка, какой развалиной он стал. Правда, однажды он отправился-таки на битву, но, вместо того чтобы сразиться и победить, ломал голову над дурацкими условиями мирного договора, искал способа сохранить обе армии — и в конце концов убрался с предполагаемого места сражения. Ушел как витязь, а вернулся как хвастливый отставник. Тоже мне, мужчину из себя строит... а сам способен только убежать, говорили они друг другу, и даже соль ему отказывались передать за обедом. Протяни руку, сам возьми, говорили они. Он смущался, немного привставал на стуле и тянулся через стол. В самом деле, ни к чему было просить, если он и так достать может.

Не думала я, что когда-нибудь еще его увижу. За версту обходила все места, где могла его встретить. Не знаю, как повлиял на него этот разрыв. Каким он стал. И каким стал бы, если б этого не случилось. Сколько раз кто-то может безнаказанно растоптать чувство, сколько раз может пустить кровь не злобной мачехе, а доброй фее, думала я. И опять ему все сошло с рук, опять он пережил это, а я — нет.

Хотя я не могу жить обездоленной, несчастной, — да и не живу. Я начала отношения с другим. Это советовали мне подруги, и они были правы. Я и не замечала, что в тени нашей любви ждет своего момента еще один мужчина. В тени каждой любви мож-

но обнаружить целую армию тех, кто ждет, тех, кто, как только разрешат, тут же поспешат вскарабкаться на освободившееся место. Я не разглядывала его, не анализировала, только видела, что он тут. Хорошо, что ему я нужна такая, какая есть. Плохо переживать по тому поводу, что он мне не нужен, или пускай не настолько. Чем больше он мне не нужен, тем сильнее хочет меня. Бежит за мной, как прирученный домашний питомец, собака скажем. Не подходит он на героев сказок о животных, скорее именно на собак, которых прогуливают в парке, или на кошек, которые, когда приходишь домой, мурлыча, трутся о твои ноги. Но он — появился, появился вовремя и сделал все, что для женщины хорошо, когда это сделано. И тогда я выкинула младшего сына бедняка землепашца из головы. Посещая занятия сказочной терапии, убила я в себе сказку, которая все сплеталась, никак не желая кончаться. Бросила я ее в соленый колодец, потом вытащила оттуда, бросила под колеса, потом и оттуда подняла, сунула в горящую печь, потом вынула и оттуда, — а она все еще была немного жива. Пришли янычары, схватили ее, вздернули на дыбу, уволокли в Стамбул, заперли в Семибашенный замок, а она все еще была немного жива. Прошло пять лет, и замуровала я ее наконец в глубокой темнице, и теперь живет она там в неволе, и никакой взрывчаткой нельзя ее оттуда вызволить. На железобетонной стене метровой толщины написано только: НЕТ, так что никто, никогда больше не будет рассказывать эту сказку.

Считаешь, ты свободен?

Черта с два.

Для тебя такого состояния, быть свободным, не существует.

За тобой стоит воля, которая, словно штаб какой-нибудь тайной организации, рассылает распоряжения. И вот по нервным волокнам, по жилам спешит приказ, и ты ему подчиняешься, потому что у тебя нет выбора. А я, я свободен, потому что делаю, что хочу, а делаю я то, что ничего не делаю.

Никакая внешняя и внутренняя сила не может принудить меня к действию. Не чья-то сторонняя воля освободила меня, как рабов, чтобы потом им всю жизнь жить на рабской цепи благодарности. Я сам захотел быть свободным — и стал им. Но ты — нет. Да и кому такое придет в голову — считать тебя свободным? Ты всегда делаешь то, что тебе говорят. Что говорила мать, когда ты родился, и что говорил отец, когда велел идти умываться и садиться за стол, когда велел ложиться спать; причем делал ты это не когда захочется, а когда тебе говорили, что нужно ложиться. Если ты делаешь не тогда и не так, как говорят, тебя наказывают. Непослушный, плохой ребенок, говорили тебе, хотя ты не сделал ничего та-

кого, что можно было бы считать объективно плохим, — это было всего лишь то, что не соответствовало распоряжениям, действительным на данный момент. Ты опоздал к началу обеда, — но кто сказал, что обед должен начаться ровно в час, то есть тогда, когда он начался. С таким же успехом он мог бы начинаться в десять минут второго или в два часа. Это было правило, установленное отцом и матерью, правило, для которого нет никаких других объяснений, кроме желания отца и матери.

Потом, после родителей, в твою жизнь вмешивались воспитательницы детского сада и учителя в школе, дежурный учитель на продленке и дежурный воспитатель в колледже, который, как ни смотри, по рангу занимает последнее место в преподавательской иерархии, в глазах тех, скажем так, кто не является преподавателем-воспитателем. Ты, конечно, не забыл, как на вечернем дежурстве он, пьяный, стоял в полумраке и орал, мол, сейчас же вымой коридор. А когда ты ответил, да ведь я только что вымыл, господин учитель, он смачно харкнул на каменный пол, его плевок, желтый от никотина, вонял перегаром. Вымой немедленно, сказал он, и заруби на носу, у меня есть право заставить тебя мыть коридор, причем столько раз, сколько мне захочется, а у тебя есть только одно право: выполнять мои распоряжения. В другой раз ты уже ничего не будешь говорить, просто подчинишься, потому что боишься наказания, боишься, что тебя исключат из колледжа, и ты окажешься за бортом системы образования, и тебе останется, в шестнадцать лет, идти подсобным рабочим в мастерскую термолитья из пластмассы, где хозяин двенадцать часов в сутки выжимает все соки из отчисленных студентов и трансильванских гастарбайтеров.

И напрасно ты в выходные мчишься домой, рассказать, вот, мама, что творится в колледже, дома тебе не верят, потому что не хотят знать, что там творится. Дома хотят знать лишь, что с тобой ничего особенного не случилось, и что твоя дрессировка была успешной, и что у тебя и мысли такой не возникает, чтобы послушаться старших, и ты с готовностью выполняешь все, что говорят тебе преподаватели.

Если ты пожагуешься директору колледжа, то и тогда абсолютно ничего не изменится, а если изменится, то вовсе не потому, что случилось такое безобразие: просто директор давно уже хотел избавиться от этого воспитателя, чтобы на освободившуюся вакансию пристроить своего хорошего знакомого или дальнего родственника, и происшедшее дает прекрасную возможность это повернуть.

Раз и навсегда predetermined, что ты можешь делать и чего не можешь. И ты делал то, что можно делать, и не делал того, чего нельзя. Мать и отец наказывали тебя за непослушание и награждали за хорошее поведение; эти наказания и награды подготавливали тебя к тому, чтобы ты соответствовал и более широким требованиям. То есть тем требованиям, которые общество предъявляет взрослому человеку. Так же как учителя, преподаватели, да и все прочие взрослые, окружающие тебя, можно сказать, из чистого доброжелательства подготавливали почву для того, чтобы ты как можно лучше соответствовал испытаниям, ожидающим тебя в жизни. Давая тебе распоряжения, они не уставали твердить, что ты учишься жизни, причем делается это не для родителей и не ради хороших отметок, даже не ради того, чтобы, серьезно занимаясь какой-либо учебной дисциплиной, ты узнал что-то новое о мире, — нет, ради жизни вообще. И действительно: благо-

даря учебе ты получаешь возможность избежать в своей жизни многих серьезных провалов.

Однако если ты не проявлял готовности и способности соответствовать всеобщему порядку, если все попытки приспособить тебя к нему так и остались в итоге неудачными, как это было в гимназии, где ты ни в оценках, ни в поведении не сумел достичь оптимального уровня, — тогда следуют наказания, выговоры, провалы, крикливая ругань учителя математики, угрозы отца, которому пришлось таки прийти к выводу, что ты совершенно никчемное существо. Уже в детстве ты копишь в себе обиды, которых тебе хватит на всю жизнь. Конечно, до какого-то момента ты будешь думать, что со временем это забудется, раны затянутся, но — ничего подобного. Уколы, травмы, нанесенные тебе учителями и другими взрослыми, на протяжении всей жизни будут саднить и воспаляться на твоём сердце. Заживут они лишь в том случае, если ты отомстишь за них, если вернешь все полученные удары и обиды, если, как говорится, передашь свою боль тем, кто моложе тебя, своим детям, молодым коллегам, если займешь место в том ряду, в котором находились твои сверстники по колледжу и который подразумевает, что на первом курсе бьют тебя, во втором — ну, по-разному, на третьем оставляют в покое, а на четвертом уже ты можешь бить других. То есть если ты дождешься своей очереди и вернешь другим то, что вытерпел сам... Но ты оказался не таким. Не мог ты мстить другим, ты предпочел, чтобы раны из года в год, словно какая-нибудь дурная привычка или врожденная ненормальность, сопровождали тебя, чтобы размножающиеся в ранах бактерии просачивались в полости тела и отравляли тебя с головы до ног.

У всего есть свой порядок. Все в мире, от звезд до самых мелких частичек, живая и неживая материя, — все подчиняется этому порядку, как и действия и поступки людей. Справедливость этого порядка никем не может подвергаться сомнению, ведь небесные тела тысячелетиями движутся по пути, предписанному им этим порядком; и галактики, и муравьи. Ведь муравьи, как солдаты, маршируют между крошками съестного — или чего там? — и своим домом, и ни одного из них невозможно заставить свернуть с этого пути. В конце концов и ты научился подчиняться порядку: порядку приема пищи, порядку начала и конца работы, порядку поведения в коллективе, а также порядку передвижения по улицам. А поскольку какое-то время у тебя была репутация нарушителя порядка, то теперь ты старался соблюдать его еще упорнее. Красный: стой на месте, звучит у тебя в голове непреложное правило. Когда дождешься зеленого, спокойно переходи на другую сторону; кое-где выполнять это правило — если ты, например, слепой — помогает еще и звук. Когда кто-нибудь из твоих сверстников-гимназистов с высокомерной рожей заявляет остальным, что на зеленый-то всякий дурак может перейти, то делает он это лишь потому, что тоже усвоил непреложность этого правила, как и многих других. Усвоил, что нарушение правила можно осмыслить лишь в контексте всей системы правил. Даже в том случае, если тем самым ты подвергнешь риску свою жизнь и, как в данном конкретном случае, получишь серьезное увечье, а может быть, даже умрешь. Как это и произошло с тем одноклассником, потому что водитель, который как раз спускался с горы, не успел затормозить: ведь, выехав из-за поворота, он сначала бросил взгляд на светофор, который раз-

решал ему ехать. И лишь потом заметил твоего одноклассника, выбежавшего на дорогу прямо перед машиной. Такое тоже может случиться... И разве не вопиющая жестокость — наказать за нарушение порядка таким образом: парнишка этот больше никогда никуда не ходил, и брак его родителей после этого распался, и распалась, конечно, вся их жизнь. Кто может перенести такое без последствий! Жизнь шофера тоже практически пошла под откос. Он так никогда и не смог избавиться от душевного потрясения, от угрызений совести, что стал причиной этой смерти, хотя с юридической точки зрения вины его в этом не было. Адвокат сказал, что это был несчастный случай. Водителя оправдали. Но что это такое — случай? Там и тогда произошло то, что произошло. Есть только то, что произошло, а что не произошло, того нет.

Ты думаешь, когда ты был ребенком, тебя эти требования не касались? Речь шла лишь о том, что ты просто еще не усвоил правил поведения в окружающем тебя мире. Долгие годы детства — это отнюдь не сплошные игры и безоблачное, веселое времяпрепровождение. Задача человека в эти годы в том и состоит, чтобы он научился сам создавать правила. Чтобы во взрослой жизни ты не нуждался в чьих-то там указаниях чего нельзя делать — ведь чего делать нельзя, ты и сам делать не станешь.

Уже игры — это прежде всего множество правил. Без знания правил игру вообще невозможно понять, ее даже начать нельзя; именно соблюдение правил пробуждает азарт игры. Как без правил играть в футбол или в шахматы? И если ты что-то сделаешь не по правилам, скажем, отдашь пас назад, как раз когда вратаря нет в воротах, хотя такое ни в коем случае нельзя делать, — то тебя, конечно,

тут же с позором прогонят с поля и ты до последних дней в школе будешь считаться человеком второго сорта, человеком, которого исключили из футбольной команды. Но клеймо этого позора останется на тебе и после окончания школы: ведь тот, кто не играет в футбол, всегда оказывается под подозрением, что он какой-то не такой, как все, — по крайней мере, в глазах большинства футболистов и болельщиков. Конечно, ты лишь позже, потом осознаешь: тот факт, что ты оказался на периферии общества, есть логическое следствие неправильно посланного назад мяча; особенно досадно, что как раз тогда ты пришел на игру в шикарных бутсах с шипами, контрабандой привезенных из Комарно*. Непривычно было в них бегать, немного как на ходулях, потому ты и ударил неловко. Бутсы тебе подарил отец, чтобы загладить тот случай, когда он надавал тебе оплеух из-за плохих отметок по математике. Вообще-то он тебя любил — ну, как умел, — и, чтобы как-то выразить свои родительские чувства, потолковал со знакомыми пограничниками: ведь он тоже был военным, а если уж принадлежишь к этому сообществу, грех не воспользоваться возможностями, которые оно дает.

Все знают: суть игры — не в игре, а в том, как понимать правила. Споры о правилах игры, когда таковые случаются, полезны тем, что готовят тебя к конфликтам взрослой жизни: например, когда один из игроков — обычно самый крепкий парень — знает все тонкости игры в орлянку, и знает, разумеется, не совсем так, как другие. Знает он их как-то так, что все деньги в конце игры переходят к нему. И свою волю, в основе которой — простой человеческий

* Комарно — город в Словакии, на Дунае. На другом, венгерском, берегу Дуная находится город Комаром.

эгоизм, он навязывает остальным игрокам, чтобы уже на этом примере каждый на всю жизнь усвоил, что в обществе существуют иерархические отношения, о которых не стоит забывать, если не хочешь постоянно конфликтовать с окружающим миром.

В конце концов ты начинаешь верить, что необходимость соблюдать правила — это вроде как врожденный инстинкт. Тогда как это совсем не так. Никакие убеждения не рождаются вместе с нами — разве что то, что мы получаем с генами наших родителей; ну и, наверное, еще сознание того, что наше пребывание здесь временно, а вместе с этим сознанием — стремление как можно скорее от него избавиться, не жить вечно с мыслью, что от нас останется всего лишь горстка земли и что в последний час ничто не покинет наше тело, кроме последнего глотка воздуха.

И не какой-то внутренний закон требует, чтобы ты вел себя так, а не иначе, — нет, ты хочешь этого сам, тебя к этому принуждает порядок, который существует независимо от тебя и который проник в тебя, капля за каплей, с момента твоего рождения, и заботились об этом те, кто держит тебя в своей власти. Не думай, что ты рос как-то по-другому, что от своих родителей, которые следовали современным принципам воспитания, ты получил что-то иное, что либеральные методы воспитания, убежденными приверженцами которых были твои родители, уберегут тебя от общей участи. Такого не произойдет даже случайно. Либеральные методы воспитания изобретены для того, чтобы в форме увлекательной игры ты усваивал тот же самый порядок, чтобы не вникал в суть того, что тебе навязывают. Когда для этого прибегали к насилию, ты, по крайней мере, знал об этом, у тебя, по крайней

мере, оставалось воспоминание о том, что ты хотел делать и чего не хотел, а если не делал что-то, потому что не хотел, то тебе приходилось испытывать боль, а потому у тебя, наподобие условного рефлекса, формировалась привычка к послушанию. Либеральные же методы воспитания позволяют добиваться того же самого совершенно незаметно. Вдобавок они осложняют твою судьбу тем, что ставят тебя перед необходимостью принимать решение даже в ситуациях, когда куда целесообразнее было бы просто выполнить чье-нибудь распоряжение: например, на счет того, хочешь ли ты съесть это или скорее то, пойти сюда или скорее туда, надеть это или скорее то. Прием чисто иезуитский: у тебя как бы появляется возможность выбора, а значит, реально растет свобода личности; но ведь, если подумать, настоящей альтернативы-то не существует почти никогда, зато еще в детстве, когда тебе не важно, что ты ешь и что надеваешь, общество взрослых без всякой на то необходимости осложняет, затрудняет твою жизнь. И все это — с той, искусно маскируемой целью, чтобы ты поверил, будто сам решил, как должно произойти то или это, — тогда как ничего подобного.

Попробуй, например, при температуре минус двадцать выйти на улицу полураздетым. Этого не выдержит терпимость даже самого что ни на есть либерального родителя, и он начнет причитать, мол, ты что, с ума сошел, он ведь только имел в виду, какое зимнее пальто ты захочешь надеть, красное или синее. Воспитание, когда родитель упивается собственной уступчивостью, воспитание, в которое ребенка окунают с момента рождения и в котором он растет, — приводит в конечном счете к тому, что целые отрасли промышленности сосредоточиваются на том, чтобы, вместо физического принуждения, культивировать склонность к свободным решени-

ям. Возьмем, например, производство памперсов. Памперс, или бумажная пеленка, создает условия для того, чтобы младенца заставляло приучаться к опрятности не неприятное ощущение, когда моча разъедает нежную кожицу, а, видите ли, свободное, самостоятельное решение. И что в результате? А вот что: если прежде ребенок уже в полтора года, самое позднее в два, приучался ходить на горшок, то сегодня не редкость, что трех- даже четырех-, а ночью и пяти-шестилетние малыши носят памперсы. Часто детишки не решаются пойти с классом на экскурсию: боятся опозориться перед одноклассниками. А все потому, что памперсы так хорошо впитывают мочу, что ребенок почти не замечает, что сидит в мокрых пеленках. А если так, то чего ради ребенку ходить куда-то в туалет, обращать внимание на все эти мелочи, да еще, может быть, прерывать то, чем он как раз занимается, скажем, игру, которой он увлечен. Вот он и делает под себя: почему бы и нет. Мы могли бы предположить, что за процессом совершенствования пеленок кроется желание сделать детство более приятным, беззаботным, — только вот о детях тут никто не думает. Совершенствованием пеленок фабрики, которые производят памперсы, занимаются в интересах своей экономической выгоды, чтобы дети как можно дольше носили эти приспособления, цена которых растет в соответствии с размером. И деньги, которые родители потратили бы, например, на более качественные съестные продукты или, может быть, на содержательные занятия во время уик-энда, — деньги эти фабрики спокойно кладут себе в карман.

Ты думаешь, ты свободен, потому что открыты границы, снесены барьеры, разделявшие континент? Конечно, Словакия — открыта, Австрия — тоже от-

крыта, но в тебе-то границы как были, так и остались, внутри себя ты не отправишься куда захочешь, потому что внутри тебя свободу передвижения никто не объявлял. Внутри тебя пространства закрыты на тяжелые амбарные замки, а где ключи, никто понятия не имеет. Этого не знает даже тот психолог, который, много лет проводя с тобой сеансы психоанализа, основательно опустошил твой кошелек. А ведь он ничего иного не делал, кроме как внушал тебе, что если ты возненавидел мать или если он обнаружит у тебя какую-нибудь детскую травму: скажем, отец твой потому торопился домой, стараясь успеть к твоему купанию, что хотел потрогать твоё тело, или что твоё рождение — всего лишь результат родительского эгоизма, потому что у родителей твоих было все для полноценной жизни, даже дача на Балатоне или пускай на берегу моря, им только ребенка не хватало, то есть того, что у знакомых, которые жили в куда более стесненных условиях, чем твои родители, было вдоволь. Короче, он заставил тебя поверить, что, когда ты все это прочувствуешь, в тебе будет взломан некий замок, — хотя та ненависть, то презрение к родителям, которые расшевелил в тебе этот психоаналитик, вырвались вовсе не из того глубинного укрытия, где таится главная травма бытия. Эту ненависть, это презрение, за неимением лучшего, и насадил в тебе, за полученные деньги, тот самый психолог.

Внутри себя, если ты в самом деле захочешь что-то вскрыть, ты будешь биться о железные двери, но все твои усилия ни к чему не приведут: ничего ты о себе так и не узнаешь. Не узнаешь даже, является ли твоя воля твоим собственным орудием, или, наоборот, ты сам являешься орудием воли, поднявшейся из глубины твоего бытия. Ты не знаешь, кто кому

отдает приказы. И этот взломанный, разбитый человек порхает по всему миру — если, конечно, позволяет банковский счет — свободно, как птица. Из города в город, из страны в страну, улетаая в далекие, экзотические края, — конечно, пока есть чем платить. Но в конце концов, когда, из-за материальных затруднений, ты не сможешь принять новое предложение турбюро, тебе придется осознать, что ни для кого, даже для психолога, ты уже никакой ценности не представляешь. Деньги у тебя закончились, а как объект исследования ты неинтересен. Таких вокруг — как собак нерезаных.

Конечно, если тебя не постигнет материальный крах, ты за всю свою жизнь даже и не заметишь, за какими заборами ты живешь, в каком ограниченном пространстве тебя пасут, перегоняя то туда, то сюда, будто какое-нибудь тупое, откармливаемое на мясо животное. Ты едешь в Хорватию, ты можешь это себе позволить, потому что ты свободен, сидишь там на берегу моря, потому что ты свободен, перед тобой проходят люди, ты смотришь на них, и в глазах твоих написано, что ты свободен. А ведь — ничего подобного. Просто как раз пришло время, когда тебе, хочешь ты этого или не хочешь, положено подумать о том, как организовать летний отдых. И ты начинаешь строить планы, потому что у тебя есть такая возможность. Если бы ты поступил по-другому, скажем поехал отдыхать куда-нибудь в другое, эксклюзивное место, ты тут же изменил бы свое свободное решение касательно летнего отдыха. Ты отправился бы на экзотические острова, куда могут позволить себе отправиться лишь немногие, — вот сейчас, например, и ты, потому что получил какую-то значительную сумму. Тогда бы ты на всю жизнь забыл про Хорватию, а всех, кто отправляется туда на летний

отдых, считал бы ничтожными людишками, у которых состояние кошелька жестко предопределяет решения насчет летнего отдыха.

Ты живешь в плену летнего отдыха. Грядут солнечные, теплые месяцы, только-только май наступил, а уже вся реклама и конечно же все знакомые заставляют тебя думать о летнем отдыхе. Куча выгодных предложений, по нынешним ценам — чуть ли не бесплатно. Хотя, что говорить, бесплатная стоимость, в перечислении на семью из четырех человек и с учетом твоих доходов, получается просто кошмарной, — но ты смиряешься, потому что летом положено где-то отдыхать. Ты не можешь сказать, дескать, ты принял решение, что в этом году не станешь тратить силы и время на всю эту нескончаемую ерунду, укладывать чемоданы, распаковывать чемоданы, — а останешься дома. В это лето ты делаешь себе подарок: не поедешь никуда отдыхать. Когда другие плотными шеренгами шагают на морском пляже к воде, а по вечерам — к пунктам общественного питания, ты один, сам по себе, будешь шляться по опустевшей столице, ужинать в лучших ресторанах по сниженным, из-за малого количества гостей, ценам. Но — нет, ты не можешь принять такое решение, ведь тогда тебе пришлось бы считать свою жизнь сплошным фиаско: еще бы, кто не будет считать фиаско такую жизнь, в которой даже нет места летнему отдыху.

Да и никто не поверит, будто отказ от летнего отдыха — твое собственное решение. Любой скажет: смотри-ка, этот даже на летний отдых не сумел заработать. И когда зимой друзья, родственники, знакомые, сослуживцы станут рассказывать, как это было чудесно, как непередаваемо: смотреть на море,

на веселых, довольных людей на пляже, и самому бросаться в волны, пестрые от солнечных бликов, и бродить по улочкам старинного городка... Будут рассказывать это с горящими глазами, забыв о литрах пота, которые проливали в том старинном городке, карабкаясь на вершину горы, чтобы поглазеть на стоящую там церковь и бросить сверху взгляд на окрестности, и забыв о нелицеприятных выражениях, которые вырывались у мужчин, когда они, выпив в тесной компании на террасе палинки, купленной еще дома, в супермаркете, говорили про жену, которая и так-то выглядит не ахти, а в купальнике — ну, это вообще... Дома, по крайней мере, она так не оголяется. А когда дело доходит до секса — все-таки биологическая потребность, так что время от времени приходится, — это ведь как-никак в темноте происходит, и при этом можно представлять что угодно или, скорее, кого угодно, и никакой необходимости нет смотреть в лицо реальности. Словом, когда эти люди рассказывают о летнем отдыхе, ты ничего им не можешь сказать в ответ, потому что ты-то — просидел все лето в своей квартире.

Нет, не можешь ты принять такое решение, иначе твоя жизнь попадет в ценовую категорию, которая вызывает в кругу всех причастных к летнему отдыху лишь презрение и жалость. Они не будут смотреть на тебя как на незаурядного, смелого человека, который пошел против всеобщих норм и совершил нечто такое, что можно считать особенным, нестандартным поступком. На тебя будут смотреть как на неудачника, у которого в жизни одна перспектива — сползать вниз. Едва ты покинешь компанию, тут же все заговорят о тебе, о том, что судьба твоя повернулась в очень нехорошую сторону и что результатом этого станет, скорее всего, развод. И то — какая

женщина смирится с тем, что летом должна купаться в городском бассейне, и не только лето, но и свои молодые годы потратила зря, и кому это приятно — оказаться на одном уровне со всякими ютящимися на окраине семьями, в то время как другие уезжают как минимум на озеро Тиса. И, как всем известно, после развода только самые удачливые и жизнеспособные могут остаться на плаву, а этот, скажут про тебя, явно к таким не относится: если уж он не мог устроить для семьи полноценный летний отдых, то ему ясно, чего от него ждать. И умрет он, конечно, раньше срока, об этом и статистика говорит.

В самом деле, процент смертности среди мужчин, чей брак был по каким-то причинам разрушен, гораздо выше, чем у тех, кто сохранил брак. Хотя многие мужчины, сохранившие брак, с радостью поменялись бы с теми, у кого жизнь окажется короче, — лишь бы сначала избавиться от этой, с точки зрения биологических потребностей, конечно, позитивной, зато в душевном плане ужас какой негативной обстановки, каковой стала для них супружеская жизнь. Но как от нее избавиться? Такой вещи, как обмен, тут не существует. Пока ты жив, это и есть твоя жизнь, и если общественная система принуждения — потому что, например, императиву семейного летнего отдыха ты просто-напросто вынужден подчиняться, — словом, если в браке тебя удерживает эта система, то вряд ли найдется что-то, что тебя оттуда высвободит. Просто в принципе не может возникнуть такая ситуация, когда ты, яростно взревев, взял бы и хлопнул, на всю оставшуюся жизнь, дверью, за которой останется опостылевшая жена. Не говоря уж о том, что ни одна женщина не упустит возможности, перед тем как остаться вдовой, до крайних пределов унижить мужа, благода-

ря работе которого они оба заняли неплохое положение в обществе и благодаря которому женщину эту чаще всего упоминали лишь как жену такого-то. Если когда-нибудь ей случалось столкнуться с кем-то, с кем она знакома была через мужа, ее удивляло, что человек этот узнавал ее только рядом с мужем, а отдельно — никак. Вот она, например, собралась было подойти к нему, дескать, привет, как живешь, ан нет: мужчина, с которым они когда-то познакомились вместе с мужем, даже не замечает ее, тем более что он как раз все свое внимание сосредоточил на продавщице, всего лишь по той причине, что та была молоденькой. Сейчас, однако, когда муж утратил прежний статус, вытекавший из его рода занятий, да к тому же и здоровье его оказалось сильно подорванным, она все обиды свои, связанные с жизнью, которая не была жизнью ради себя самой, уж постарается выместить на нем трижды.

Нет, от летнего отдыха ты отказаться не можешь. Да и не хочешь. Ты веришь, что это и для тебя хорошо. Хорошо смотреть на синюю воду, хорошо ничего не делать, хорошо побыть вместе с детьми, с женой. Ты живешь, как многолетние растения: приходит весна, и они распускаются, кроны их становятся зелеными, пышными; приближается зима, и они сбрасывают листья, чтобы на следующую весну снова зазеленеть. Сейчас лето — и ты отправляешься отдыхать. Ты настолько уверился, что это хорошо, что не учиываешь ни то количество работы, которую требуется выполнить, чтобы оплатить эту поездку, ни те трудности, которые неизбежно при этом возникают. Надо организовать поездку, подобрать необходимую одежду, привыкнуть к постели на новом месте и не думать о том, что постель эта, если посчитать, во сколько она обходится в сутки,

умопомрачительно дорога, да к тому же у тебя спина болит от нее: хорваты, предоставившие тебе жилье, купили самые что ни на есть дешевые матрасы, чтобы как можно скорее вернуть свои затраты, и делают они это без зазрения совести, потому что давно усвоили простой психологический фактор: если запросить за комнату с постелью достаточно кусачую цену, то гость, может, вздохнет про себя, но не признается даже себе самому, что пустил на ветер такую сумму, — более того, еще и друзьям скажет, мол, да, дороговато, но оно того стоит, словом, постарается, думая об этом пыточном ложе, внушить себе, что на самом деле такая постель помогает восстановить здоровье и что она — условие для того, чтобы ты мог всей душой наслаждаться всеми радостями летнего отдыха, от желоба, по которому съезжают в бассейн, до дружбы между семьями, завязывать которую в таком летнем времяпрепровождении все очень охочи. Эти две недели, считающиеся свободными, на самом деле — очевиднейшее доказательство того, что вся твоя жизнь протекает в предопределенности, в череде вынужденных и неизбежных действий.

Ты сидишь на морском берегу, за спиной у тебя палатка. Этот вид летнего отдыха, немного напоминающий кочевое житье-бытье, в последнее время тоже стал довольно популярным. Более того, в определенных кругах он считается чуть ли не шиком. Мода пошла от дешевизны, но сторонники подобного отдыха с таким энтузиазмом расхваливали преимущества жизни в палатке, прямо на морском берегу, веселую жизнь в кемпинге, делились впечатлениями, как забавно подсматривать за жизнью других семей, в то же время наслаждаясь уютом и удобством собственной палатки, и особо подчеркивали, что при

этом не нужно, навьюченным резиновым матрасом и тысячей всяких сумок, среди них такой неуклюжей сумкой-холодильником, тащиться к морю по обочине, идущей вдоль берега дороги, среди припаркованных или ищущих место парковки машин. В кемпинге вода так близко от палатки, что стоит споткнуться на какой-нибудь кочке, и ты уже в воде, рассказывали, смеясь, люди. Словом, палаточную жизнь расхваливали так убедительно, что в конце концов многие выбрали этот вид отдыха, потому что не хотели лишиться, а тем более лишить детей всех прелестей кочевой жизни. С возросшей популярностью автоматически подскочили цены. Более или менее приличные кемпинги скоро догнали по стоимости дорогие отели; в других кемпингах, не таких классных, народу больше, чем в торговых центрах в дни рождественского безумия, а шум — как на летних молодежных фестивалях, разве что музыкальное сопровождение — немного более пестрое, да нет обкурившихся до потери сознания подростков, только пьяные мужчины, с огромной, как море, пустотой в глазах, а также принадлежащие им, ожиревшие телом и душой женщины; ну да, и еще, конечно, орущие, беззастенчиво опрокидывающие чужие вещи детишки.

Ты сидишь перед палаткой; ты выбрал не какой-нибудь занюханный кемпинг, где людей — как сельдей в бочке: идиот ты, что ли, чтобы, жалея деньги, отказаться от самой сути летнего отдыха, от покоя. Ты сидишь, и на лице у тебя выражение: «я свободен», и думаешь ты о том, что хорошо бы увековечить этот момент на фотоаппарат или хотя бы на телефон. Ты озираешься: кого бы попросить, мол, щелкните меня, пожалуйста, и перешлите мне, а ты потом перенесешь это фото как фон на рабочий

стол компьютера и будешь всю жизнь любоваться выражением своей физиономии. Или, если снимок сделан на телефон, разошлешь его всем знакомым, пускай их ломает от досады, что ты так хорошо устроился в жизни. Да, в самом деле, я хорошо устроился, говоришь ты про себя, и пускай знакомых и родственников корчит от зависти, когда они думают о тебе. Зависть других, даже воображаемая, автоматически увеличивает в твоих глазах ценность летнего отдыха.

И вот это ощущение свободы и бесконечного удовлетворения собственной жизнью и самим собой вдруг нарушают дети: папа, папа, тут в кемпинге мороженое продают, ой, ну так хочется, потому что жарко, вон всем покупают, кто маленький. Сколько стоит, спрашиваешь ты, и, когда узнаешь цену, немного теряешься, но быстро справляешься с растерянностью и наспех придумываешь некую систему: самое большее — через день, и то лишь один шарик, и объясняешь, мол, горло, то-сё, на что ребенок отвечает, что вовсе и не болит. На это ты возражаешь, что если не болит, то еще вполне может заболеть, и что может быть неприятнее, чем отдыхать у моря с больным горлом, с воспаленными миндалинами лезть в воду, с высокой температурой жариться на солнце. Ребенок (или дети, в зависимости от того, сколько их) канючит, что — нет, два шарика и каждый день, и ты раздражаешься, и произносишь нехорошие слова, которые отец вообще-то не должен говорить своим детям, насчет того, до чего они избалованные и ненасытные, что ни увидят, все им дай, сказали бы спасибо, что их привезли сюда, на море, купаться, а не к какому-нибудь вонючему пруду, хотя и таких семей немало. Тут ты ненадолго задумываешься насчет количества таких семей,

ты хотел бы считать, что их много, а счастливых, которые приезжают сюда, на море, и к которым относишься и ты, наоборот, мало. В общем, есть такие семьи, продолжаешь ты, и их немало, они даже военный пруд не могут себе позволить, потому что у них денег нет на автобус, чтобы доехать до этих прудов, говоришь ты, думая, что никто тебя не слышит, вокруг ведь — боснийцы, хорваты, черногорцы или немцы, но я-то слышу и вижу, потому что как раз прохожу мимо, направляясь в душ.

Да, я тоже нахожусь там, в этом самом кемпинге, но скрываю, что мы говорим на одном языке; машину нашу я оставил на парковке, чтобы, не дай бог, не привязался ко мне какой-нибудь соотечественник, мол, смотри-ка, я вижу, ты тоже наш. Соотечественник заведет доверительный разговор, будет хлопать меня потной ладонью по плечу и говорить, говорить. Я получу возможность узнать, каких политических взглядов он придерживается и сколько раз занимается сексом с женой, раз в неделю или раз в месяц, а недостатку, конечно, добывает на стороне, и что за кретины эти хорваты, да и вообще все, кто не относится к нашей нации.

Я прохожу мимо и слышу все, что ты говоришь, и мне стыдно за тебя. И тем более стыдно, когда я вижу, что даже морда у тебя не краснеет: должно быть, ты основательно намазал ее кремом от загара, который купил, начитавшись панических сообщений в газетах, что в небе-де появились какие-то дыры и солнце сразу сожжет твою кожу, так что ты за день станешь красный как рак, и от дырявого неба надо срочно спасаться самыми лучшими кремами от солнца, на это не стоит жалеть денег, потому что такой крем может спасти жизнь. Я слышу, что ты говоришь, так как говоришь ты, не думая

понижать голос, ведь меня ты считаешь иностранцем, который не понимает венгерского. Я смотрю на тебя; чего глаза вылупил, чертов кретин, бросаешь ты мне, но я продолжаю смотреть на тебя: ты, свободный человек, даже здесь не можешь обойтись без ежедневного подсчета расходов, благодаря чему и детям испортишь в конце концов эти две недели, которым они, несмотря на обилие в воде медуз, в самом деле могли бы от души радоваться. Ты не мог сказать честно: дети, у нас столько-то денег, их хватает только на один шарик раз в два дня. Ты не сказал им, каково истинное положение вещей, поэтому у детей не было возможности это понять. Уныло побрели они к воде, ожидая, пока веселые голоса купающихся выбьют у них из головы отцову злость. И выбили-таки. Выбили бы и из моей; и из твоей бы выбили, потому что голоса эти были такие веселые и безмятежные, — если бы твой отец повез тебя к морю. Но он не повез; сказал только: как-нибудь повезу. Из глаз у него текли слезы, в кухне распространялся дурной запах, шедший у него изо рта. Повезу, сказал он, но не повез, а повез к бабушке в деревню, где со мной и с другими детьми, которых тоже привезли туда из города, деревенская ребятня обращалась с такой завистью и недоброжелательством, словно мы относились к числу тех, кто, вернувшись в столицу, тут же поедет с родителями на море, тогда как — ни черта подобного. С ключом на шнурке, надетом на шею, торчали мы на детской площадке, пока кто-нибудь из родителей не вернется с работы.

Когда все, что входит в понятие «летний отдых», ты проделаешь до конца, то осенью или зимой, скажем, собравшись на семейное или дружеское — например, рождественское — застолье, ты сможешь при-

нять участие в соревновании на тему: кто провел лето содержательнее, интереснее, кто какую сумму потратил, чтобы реализовать это содержание и обзавестись этими интересными впечатлениями. Соотношение цена/интерес обозначит твое место на рынке летнего отдыха. Если ты очень уж отстанешь от других, можешь сообщить всем, что видел дельфина. Если с дельфином успеет выступить кто-то другой, ты сразу поймешь, что у этого человека летний отдых тоже был испорчен: апартаменты, которые он снял, наверняка были грязными и невероятно неудобными, да к тому же дождь лил по крайней мере одну неделю из двух, а вид, который открывался с террасы, представлял собой не романтические дикие горы, а какой-нибудь нефтеочистительный комбинат или корабельный завод. Конечно, называлось это место — Золотые Пески. В турбюро этот человек ничего не заподозрил, да и название сбilo его с толку, хотя опытные путешественники точно знают: дешевые апартаменты плюс роскошное название местности равняется промышленному пейзажу. Словом, если этот член застольной компании вылезет с дельфинами, резвившимися рядом с пароходом, на который они купили однодневное морское путешествие как раз для того, чтобы полюбоваться дельфинами, ты можешь попытаться переплюнуть его, рассказав об акулах, которые вообще-то к берегам Адриатики приближаются крайне редко, но, представьте себе, именно тогда, когда ты там находился, и даже не где-нибудь, а поблизости от берега, куда акулы не заплывают, ну вот, ты как раз был в воде, потому что хорватская система защиты от акул крайне несовершенна, и предупреждение об опасности ты получишь только тогда, когда ты уже и сам, невооруженным глазом, видишь страшный треугольник акулье-

го плавника, известный всем по фильмам «Челюсти 1», «Челюсти 2» и бог знает сколько их еще, — словом, когда уже, можно сказать, поздно. Господи Боже, ахают слушатели, особенно женщины. Не окажись там того немца туриста, говоришь ты, акула тебя бы обязательно сожрала, ты был бы тем туристом. Господи Боже, делают все большие глаза и, конечно, замолкают на несколько минут — если, конечно, не найдется кто-нибудь, кто был, например, на сафари, где уж точно человека со всех сторон подстерегают смертельные опасности, и не раз в две недели, а постоянно. Хотя настоящие участники сафари вообще-то чаще всего помалкивают о своих приключениях. Этим молчанием они дают понять, что участвовать в этом соревновании с их стороны было бы просто бестактно, потому что тем самым они подчеркнули бы незначительность того, что пережили другие. Даже если у них что-то спрашивают, они и тогда отвечают нехотя, односложно, сохраняя тем самым таинственный ореол сафари. Во всяком случае, на это должна указывать их молчаливость. Хотя на самом-то деле молчат они по той причине, что терпеть не могут всякое фанфаронство. Да и на сафари им пришлось поехать потому лишь, что фирма как раз находилась на подъеме и у нее сложился довольно специфический круг клиентов, а стало быть, и друзей, так что никуда не денешься, пришлось ввязаться в такое экзотическое мероприятие, вбухав туда годовую выручку. Эти новые клиенты и друзья вряд ли раскроют рот, если похвастаешься перед ними таким второсортным местом, как Адриатика, тем более что это был болгарский берег, где, как все знают, в воде полным-полно отходов атомных электростанций, так что за эти несчастные две недели ты, может быть, и сэкономишь сотню-

другую тысяч, зато вполне можешь подцепить такую болезнь, что последние штаны продашь, чтобы оплатить официальное и альтернативное лечение. А в конце все равно помрешь, не оставив своей семье ничего, кроме бесчисленных долгов да усталости, накопленной за то время, когда родне пришлось ухаживать за тобой.

Так протекают рождественские праздники: родственники и друзья похваляются друг перед другом полезным и содержательным летним отдыхом, потом жены принимаются рассказывать, кому что купил муж за отчетный период, — как бы в доказательство того, что значительность и дороговизна подарка служат мерилom любви и преданности, проявляемыми данным мужем в супружестве. Тогда как мысль эта — в корне ошибочна. Например, один муж купил жене сумасшедше дорогой подарок — чтобы успокоить совесть, которая грызла его из-за любовницы. По этой причине, то есть пускай не прямо, из-за дорогого подарка, брак этот постепенно сходил на нет. Но распался и брак, где муж, движимый искренней любовью, купил жене скромный и, можно сказать, лишенный всякой фантазии подарок — шарфик. Дело в том, что жена, сравнив этот подарок с тем, что получали другие жены, сделала вывод: этот несчастный шарфик ни о чем другом не свидетельствует, кроме как о недостаточности — и в качественном, и в количественном плане — мужней любви. Поэтому в следующем году она завела тайную связь с другим мужчиной, который потом, подобно мужу, упомянутому выше, мучимый угрызениями совести, купил своей жене жемчужное, чертовски дорогое ожерелье. И этим, граничащим с мотовством поступком положил начало целой цепи крушений других браков, в том числе и своего.

Но никто из людей, собравшихся в данный момент в данном месте, не догадывается сейчас, какое значение несут в себе эти пакеты разной величины и ценности, какие чувства (только совсем не любовь друг к другу) побудили человека приобрести в подарок другому человеку то-то и то-то. Эти люди толкуются в украшенной по рождественским канонам комнате, как заключенные в скотском вагоне, и каждый играет свою роль. Актеры они плохие, однако на любительской сцене это разве важно. Ты тоже находишься среди них; нахожусь тут и я, устроившись в уголке. Я вижу, как ты зажигаешь свечу, как желаешь остальным счастливого Рождества. Ты не плюешь в лицо тем, кого ненавидишь: сейчас этому чувству нет места, сейчас люди во всем мире — это подтверждает и телевизор — любят друг друга. Ты продлеваешь одно и то же каждый год, механически, как машина, и, если бы кто-нибудь вспомнил твое лицо и выражение на нем в этот же день год назад, он обнаружил бы, что ты улыбаешься точно так же и произносишь точно те же слова, что и в прошлом году, и в позапрошлом. Утром ты встанешь; все еще спят, ты один бодрствуешь; на мгновение растрогаешься, увидев сверкающую, нарядную елку, желудок тебе кольнет болью, вспомнятся давние времена, когда ты был еще ребенком, вспомнится запах или вкус, других воспоминаний у тебя почти и нет; потом ты будешь делать то же, что всегда, у второго дня тоже есть свой ритуал, то есть — обычные дела после пробуждения, уборная, чистка зубов, готовить праздничный завтрак.

Я отказался соблюдать эти обязательные условности, сказал себе: с сегодняшнего дня ничего такого не будет. Это надо было произнести один раз, пото-

му что я и так слишком долго молчал. Дольше, чем надо было; как и ты — ты молчишь о них слишком долго. Надо было сделать это на годы раньше, так было бы лучше; но никто не делает что-то безотлагательное в ту минуту, когда нужно, каждый дожидается момента, когда больше тянуть нельзя. Он думает: прежнее невозможно прекратить, новое невозможно начать. Дела и вещи копятя и толпятся, мешая друг другу, на границе между износившимся старым и готовым начаться новым, толкуются годами в полном бессилии. Человек не может ничего изменить: желание соответствовать правилам не позволяет отважиться на перемены. Я не был трусливым, не был одним из тех, кто не смеет сделать что-либо по-другому. Ну и что, что она так говорила, это было уже в другое время, мы уже далеко ушли от той точки, когда мы думали: как хорошо, что мы обрели друг друга, и как это невыносимо — проводить часть дня отдельно друг от друга, как невыносимо это ежедневное расставание. Что с того, что она сказала, будто я трус и потому не смею сделать следующий шаг. Дескать, я не хочу отказываться от домашнего комфорта, сказала она, и лицо у нее было в слезах, я как раз собирался домой. Мол, я не хочу поворачиваться спиной к надежному, устоявшемуся и пускаться во что-то неопределенное, новое. Это — слишком просто, сказал я, такое разве что в глянце-вых журналах пишут, и оторвал от себя ее руки, чтобы выйти в дверь. Это еще не значит, что это не так, сказала она, продолжая плакать, я слышал ее плач, даже когда закрыл за собой входную дверь. Как странно, думал я, шагая домой, что подобные мысли прокрадываются даже туда, куда глянцевые журналы и близко не подпускаются.

Нет, я не был трусливым. Просто для всякого изменения есть свое время, а время это пришло позже,

и ничего тут не поделаешь, если срок этот, запоздавший срок, пришел слишком поздно и касательно наших с ней отношений.

Но теперь я свободен. И пусть никто мне не указывает, что я должен делать, потому что я всегда делаю то, что хочу, а в данный момент я как раз ничего не хочу делать. Не прячется во мне некая тайная воля, которая исподволь посылает указания мозгу, мол, делай то-то и то-то или не делай того-то и того-то. Я не давал себе слово, что не буду делать ничего: просто не хочу. Нет, не подумайте, что я вступил в какую-нибудь секту, где вылечившийся от алкоголизма гуру ударился в восточную мистику и проповедует ничегонеделание. Проповедует каждую субботу, с девяти до часа, целых четыре часа, главным образом женам зажиточных мужчин, женам, которые уже освободились от обязанностей по воспитанию детей. Дети у них уже достаточно взрослые, чтобы вести самостоятельную жизнь, во всяком случае, не нуждаются в постоянном присутствии матери или, скажем, бонны, а вернуться на рынок труда, говорят эти жены, уже не получится. Сколько бы ни посылали они заявлений и резюме, их никто даже не читает, говоря, мол, практики недостаточно или опыт устарел, и вообще женщин-служащих уже столько, что яблоку негде упасть, объясняют работодатели, если кто спросит наивно, почему их не берут. Правда, у жен этих и в мыслях нет пробиваться на тот пресловутый рынок труда. Для них возвращение к работе не означало бы надежды на развитие и расцвет личности, а развитие и расцвет личности они считают справедливой компенсацией за не слишком содержательную жизнь, особенно после стольких, угробленных на детей монотонных лет. К тому же если они все-таки решатся вернуться к рабо-

те, если кто-нибудь, пусть из жалости, примет их на службу, то ведь они станут получать до того крохотное, унижительное жалованье — так они объясняют, — что его можно и не считать, и это никак не соответствует тому месту, которое они занимают в мире. Конечно, при этом им и в голову не приходит, что место это напрямую связано с должностью и доходами мужа и объясняется не чем иным, как эффективной внешностью, которая когда-то у них была и от которой теперь и воспоминаний не осталось. И тело расплылось, и никакой крем не может вернуть прежнее лицо, и силикон кое-где пообвис, да и муж, который выбрал тебя из-за внешности, давно уже приклеился к другой, эффективной женщине. Пока что он это держит в тайне, но устройство уже тикает, и скоро, скоро тайна перестанет быть тайной, и жена может попрощаться с благополучной жизнью. Но восточная мистика и в этой кризисной ситуации ей поможет, так что не было таким уж бесполезным делом тратить деньги на те субботние сеансы. Ведь именно там сформировалось в ней терпение, благодаря которому в итоге затянувшегося бракоразводного процесса она смогла-таки получить половину собранного мужем состояния, в том числе и половину банковского счета, который муж держал в глубоком секрете, потому что хранил на нем деньги, отложенные для новой жизни. Адвокат женщины, обладая некоторыми связями в банковской сфере, установил, что счет тот довольно значителен. Напрасно муж отбивался руками и ногами, адвокат был тверд и не шел ни на какие послабления, так что при разводе отсудили столько, сколько позволял закон. Муж и сам несколько раз приходил к бывшей жене, но та была непреклонна. Напрасно вспоминал он проведенные вместе годы, напрасно напоминал,

как двадцать лет оплачивал все ее счета, в том числе и субботние сеансы, причем без единого слова упрека. Нет, нет, жена не позволяла себе расслабляться ни от ностальгических воспоминаний, ни от забавных эпизодов давних летних поездок, которые муж вспоминал сейчас, — ей нужно было думать о будущем, ведь средства на жизнь ей обеспечивал только муж, точнее говоря, теперь уже — бывший муж.

А он, то есть бывший муж, жалел теперь главным образом о том, что уже пообещал своей новой женщине ту сумму, вернее, ту движимость и недвижимость, которую на эту сумму можно было бы приобрести, и теперь эта новая женщина не желает довольствоваться меньшим. В такие минуты каждый мужчина корит себя за то, что в часы любви и интимной близости столько болтал. Вместо того чтобы сосредоточенно заниматься тем, чем обычно люди занимаются в постели, он мелет, что в голову придет: общая квартира, причем не где попало, общий ребенок, а затем, чтобы звучало еще убедительнее, общие дети, и точно называет срок разрыва с женой и начала общей жизни, — и конечно, нет такой женщины, которая не запомнила бы все ожидаемые поступления и все названные сроки. Чтобы сдержать слово и удержать новую женщину, мужчина влезает в сумасшедшие долги, и, хотя благодаря этому может профинансировать начало достаточно солидно, в дальнейшие годы новая семья и новые дети узнают, что такое нужда. Бывшая жена, как уже говорилось, проявив упорство при разводе, завладела едва ли не всем оставшимся состоянием мужа, так что, после многократных неблагоприятных разделов и огромных алиментов, которые были ей присуждены, бывший муж оказался в маленькой пештской квартирентке, точно такой же, да чуть ли не в

той же самой — она и находилась на расстоянии всего лишь в один квартал, — в которой рос в детстве.

Тут бывший муж начал верить в теорию о вечном круговороте вещей; он вспомнил, что, когда дела с первой женой еще шли гораздо лучше, они провели несколько недель в Неаполе и там был один чудик — то ли он там родился, то ли преподавал в университете, — который как раз что-то такое писал об этом. Мужчина нашел старый путеводитель, где авторы понаписали всякого, что тогда казалось совершенно бесполезным, — например, про того чудика и про все, что он думал о мире. Этого небольшого описания было достаточно, чтобы наш бывший муж удостоверился, что нет в мире развития, все всегда возвращается туда, с чего началось. Когда он на каком-то корпоративе в своей фирме рассказал об этом нескольким сослуживцам, в том числе владельцу фирмы, тот понял, что надо поскорее избавиться от этого коллеги, занимающего важную руководящую должность: ведь каждая фирма стремится к постоянному росту и развитию, а если она не развивается, не растет, это равноценно упадку. Конкуренты такую фирму в два счета затопчут, да и как может обеспечить рост менеджер, который не верит в развитие — в развитие мира, а значит, конечно, и в развитие данной фирмы. То, что *small is beautiful**, даже влюбленная женщина не согласится проглотить, не говоря уж о мире бизнеса, — сказал, вроде как в шутку, владелец, а затем шагнул к тем сотрудникам, которые верили в развитие.

Наш бывший муж, после того как его уволили из фирмы, быстро уточнил свою теорию, и в корчме, тратя последние крохи своих сбережений, он изла-

*Маленький, да удаленький (англ.).

гал эту теорию уже в таком виде, что все-де всегда возвращается на уровень более низкий, чем вначале. То есть функционирование мира можно изобразить как спираль, направленную вниз. Вспомним Фортуну и ее рог изобилия: рог повернут, естественно, раструбом вниз. Такую спираль можно обнаружить в архитектуре любого из древних народов. Это — основа древнего, давно утраченного знания, вот почему мотив этот появляется всюду, от дравидов до древних жителей Месопотамии и греков. Старинная легенда о затонувшей Атлантиде, собственно говоря, говорит о том же: море поглотило эти знания, так же как вскоре и нашего бывшего мужа поглотила сначала корчма, потом — алкоголь и наконец смерть, подстерегающая любого и каждого.

Бывшая жена не думала, естественно, что ее мужа ждет такая судьба; на курсы восточной медитации она пошла лишь по той причине, что жизнь дома была невыносимо скучной; и, конечно, невыносимо скучным был муж, которого она выбрала потому, что будущую семейную жизнь видела с ним надежной и обеспеченной, а вовсе не потому, что считала его личностью интересной, а уж тем более харизматичной. Нет, мужчина этот, собственно говоря, всегда был достаточно скучным, но, по мере того как росли дети, это его качество становилось все невыносимее. Конечно, в свое время она могла бы выбрать и более интересного спутника жизни, но любая женщина выберет скорее мужа скучного, зато надежного. Мужчин с яркой индивидуальностью женщины боятся, опасаясь, что те станут алкоголиками или тунеядцами, а если не алкоголиками и не тунеядцами, то наверняка будут им изменять: женщины, думая не о муже, но вообще о партнере-любовнике, представляют исключительно таких,

достигших определенного возраста мужчин. Ну нет, в мужья такого мужчину женщина не выберет. По прошествии же десятка-другого лет, проведенных в браке, женщины тем не менее часами жалуются подругам или вылечившемуся от алкоголизма духовному руководителю, как невыносимо скучно жить с этим мужчиной, которого ничего не интересует, а если она вытащит его в театр или на концерт, то уж точно, он спустя десять минут уснет, а она сидит, вся красная от стыда, мол, вот такой человек ее муж. И даже не может сосредоточиться на музыке, боясь, что в какую-нибудь великолепную паузу, предусмотренную при исполнении так часто звучащих на концертных сценах мира симфоний, муж вдруг громко захрапит, как дома, перед телевизором.

Женщина рада была разводу, но не потому, что желала этому неинтересному мужчине тяжелой и мрачной судьбы: нет, просто она, вполне обоснованно, полагала, что в жизни ее еще может появиться что-то особенное. Ей было за сорок, дело шло к пятидесяти. Она вполне отдавала себе отчет в том, что большая часть того, что может произойти, с ней уже произошло, но ей не хотелось отказываться от мысли, что ее еще ожидает какое-то значительное событие, какой-то кардинальный поворот в жизни. Когда она говорила об этом с подругами, чаще всего ей приходила в голову больница для бедных где-нибудь в Африке, где она станет сиделкой и будет спасать от гибели черных, физически истощенных людей, а особенно — таких красивых, большеглазых черненьких детишек. Она подробно описывала будни такой больницы, потому что видела один фильм на каком-то документальном канале: включила она его ночью, когда не могла уснуть, тяжба за имущество с бывшим мужем еще продолжалась. На самом

деле, конечно, она мечтала о каком-нибудь мужчине, с которым жизнь снова станет интересной, с которым все, даже каждый вдох, будет казаться новым и необычным. Надежда на то, что с ней это произойдет, спустя какое-то время потускнела, и женщина отправилась по тому пути, по которому движется каждый, то есть — по направленной вниз спирали. Хотя некоторое время она еще ждала, вдруг с рождением внуков еще появится если и не какая-то новая станция, то хотя бы маленькая остановка на этом пути; но дети, руководствуясь вошедшей в обиход модой или помня опыт собственного детства, не спешили заводить семью, и женщина наша так и умерла, не дождавшись ни станции, ни остановки. Если не считать чем-то подобным ту борьбу, которую она, собрав последние силы, вела со смертельной болезнью. Сдалась она далеко не сразу. Это была великолепная борьба, говорили подруги после похорон.

Сижу в подземном гараже, это мой последний день. Сижу и ничего не делаю. Ничего не делаю — в зависимости от графика, на протяжении двенадцати или двадцати четырех, иногда даже тридцати шести часов. Но это мое ничегонеделание никак не связано с тем вылечившимся алкоголиком, который не пожалел пяти лет на восточную мистику, освоил несколько упражнений йоги, а кроме того, прочел — они обычно издаются в сокращенном варианте — несколько восточных книг: «Речи Будды», «Упанишады», «Тибетскую книгу мертвых» — и тут же организовал группы самопознания, чтобы на деньги, получаемые за эти курсы, финансировать свой будущий, опирающийся уже на напитки более высокого качества алкоголизм, да еще и заполучить ту женщину, которую можно заполучить подобными восточны-

ми кунштюками, а таких добровольных участниц было более чем достаточно. Выбор был настолько богат, что нелегко было определиться. Он и сам не думал, что достаточно сказать кому-нибудь, мол, я никогда не чувствовал того, что чувствую, когда ты стоишь рядом, — словно между нами возник какой-то эфирный мост... Чувствуешь? Наши сердечные чакры вливаются друг в друга. Да, чувствую, говорила актуальная на тот момент женщина. Мы словно связываем, говорил вылечившийся алкоголик, два конца мира. Эта фраза, со связыванием концов, ломала даже самых упорных женщин. Он мог бы выбрать любую из курса, но в конце концов остановился на одной; почему именно на ней, остальные женщины никак не могли понять, считая это удивительно неудачным выбором, особенно если сравнивать с ними.

Совершив выбор, духовный наставник держал избранницу, на протяжении всей ее жизни, в плену своей истерической любви и ревности, чего эта женщина даже не осознавала — настолько она страшилась потерять своего повелителя. Когда он вел себя так, что его надо было бы выгнать ко всем чертям из дому, из-за его дикого поведения, это она умоляла простить ее, потому что это наверняка она поступала плохо, если он с ней так груб. Конечно, не какие-то недостойные поступки бедной женщины, но всего лишь похмелье, принимавшее все более жуткие формы, вызывало в знатоке восточной мистики вспышки ярости, которые обрушивались на женщину, — потому что через какое-то время нервную систему разрушает даже самый качественный алкоголь.

Нет, женщина не понимала этого; поняла, лишь когда этот мужчина все же умер — от болезни печени, которая не поддается лечению. Тогда она почув-

ствовала, странным образом, не боль утраты, но, напротив, облегчение: с ее плеч словно груз свалился, и груз этот представлял собой не что иное, как тяжелое присутствие рядом с ней этого мужчины. Она вдруг смогла вздохнуть полной грудью. И наконец поняла, что означал в восточном учении, которым она столько времени старалась проникнуться, тот краеугольный тезис, что все зависит от умения правильно дышать.

Женщина ощутила свежесть и аромат весеннего воздуха, потому что как раз наступила весна, и, подобно растениям, что зимой увядают и погружаются в небытие, она стала все выше поднимать лицо; она даже вытянулась немного вверх; мышцы спины, до сих пор сведенные судорогой, расправились и дали ей возможность вырасти сантиметра на два. Правда, все эти позитивные изменения оказались напрасными, и напрасно женщина стала более стройной, а взгляд ее — более чистым: смерть гуру случилась как раз тогда, когда уже было поздно менять образ жизни и тем более заводить новые отношения, но слишком рано для того, чтобы избежать долгих одиноких десятилетий. Несмотря на все это, овдовевшая женщина все же выглядела счастливой, когда встречалась случайно на улице с бывшими соученицами по восточным курсам, — счастливой она выглядела по сравнению с ними, потому что никогда и никто в жизни не держал ее в таком подчинении, как тот духовный наставник, омрачивший ее молодые годы. Теперь она могла почти безмятежно радоваться всему, как возвратившийся с войны солдат; даже тому, что зимой в квартире тепло, а ночью — тихо.

Но что касается меня, то меня никто не заставляет ничего не делать: я ничего не делаю потому, что не

хочу. Сам не хочу, по своей воле. Я делал все, пока делал. К девяти — на службу, в пять — домой, покупки, что там с детьми, всегда что-то было, как минимум насморк или деньги на какое-нибудь школьное мероприятие. Потом не было ничего: они достигли такого возраста, когда уже не доставляет радости делать что-то вместе с ними, но зато можно радоваться, что они радуются где-то в другом месте, куда тебе вход заказан.

Я прихожу сюда, в подземный гараж. Сижую, стою, все равно, на мне никакой ответственности. Не нужно ни о чем договариваться с сослуживцами, не нужно опасаться, что меня опередят в каком-нибудь другом научно-исследовательском институте и материал исследования, над которым я работаю вот уже шесть лет и которое обещает некоторые интересные результаты, к примеру, в области квантовой физики, и результаты эти, вероятно, появятся в самых известных научных журналах, — что все эти шесть лет будут выброшены в мусор, потому что тебя кто-то где-то опередил. Ты очень близко подошел к некоему научному открытию — но это ничего не значит, если открытие сделал другой. При всем том, если тебя и не обгонят, ты все время должен считаться с тем, что результатов ты достиг как исследователь маленькой страны, а значит, как таковой, ты то ли есть, то ли нет, и большие государства, обладающие мощным научным потенциалом, то ли снизойдут и заметят тебя, то ли нет. Ты не знаешь, сколько будут держать в столе твои статьи, скажем, «Nature» или «Science». И не передаст ли внутренний рецензент полученные тобой данные какому-нибудь коллеге, который за пару минут состряпает необходимое экспериментальное обоснование и представит результат, как собственный, на суд научной общественности. Он станет кичиться своим

первенством, а тебе некуда будет пойти с жалобой, что, мол, это же у нас, в нашем институте, раньше было открыто. В конце концов твои претензии вообще потеряют всякую актуальность, потому что какая-нибудь международная, не вызывающая ни тени сомнения научная премия окончательно узаконит приоритеты: ты стал лишь вторым. Правда, по сути, это ничего не значит: ведь ты-то знаешь, что первым был ты. Заслуги и почетные звания, связанные с первенством, в общем-то столь же лишены фантазии и формальны, как и вечные жалобы тех, кто оказался вторым, их сетования на стечение обстоятельств. Страх, как бы тебя кто-нибудь не опередил, невольно вынуждает тебя притормаживать молодых исследователей, у которых вроде бы есть шансы опровергнуть построенные тобой теории. Ты мучительно следишь, чтобы эти талантливые люди нигде не достигли реального успеха. Всюду, куда достают твои руки, этим исследователям ничего не светит, и в конце концов они состарятся, выйдут из того возраста, когда от них можно было ждать какого-нибудь сюрприза.

Конечно, тщетно ты станешь оберегать до последнего вздоха свой научный авторитет: ты ни на мгновение не сможешь забыть, что в основе твоей научной карьеры лежит открытие, сделанное в двадцатипятилетнем возрасте, а после этого тебе ничего не пришлось в голову. Ты присутствуешь в науке только благодаря своему статусу, но не благодаря своим мыслям, и статус твой, ученые степени, звание почетного доктора постоянно напоминают тебе, что сейчас, в данный конкретный момент, ты не представляешь собой ничего, ты — это только руководящая должность, и поэтому судорожно цепляешься за все, что удалось достичь. Ты потерпел крах уже в молодом возрасте, и, в отличие от грече-

ских героев, которые стали жертвами судьбы, тебя впереди не ждет даже достойное поражение: ведь до конца жизни ты должен играть роль успешного человека.

Здесь, в подземном гараже, нет первых и вторых, здесь нет соперничества, здесь все происходит само собой. Сами собой поднимаются и опускаются шлагбаумы, автоматы сами собой делают пометки на талонах, я же здесь нахожусь, собственно, лишь для того, чтобы эта стеклянная кабинка не оставалась пустой. Подземный гараж этот — маленький универсум, крохотная копия космоса, модель, на которой можно изучать, как действует мироздание. Шлагбаум поднимается, потом опускается, подобно тому, как солнце то восходит, то заходит. Как солнце — врата мироздания, так шлагбаум — врата подземного гаража. Вот о каких вещах я думаю. Скука порождает бесчисленные мысли, даже такие, которые человеку, если он не попал в подобную ситуацию, наверняка не пришли бы в голову, а если бы вдруг пришли, он посчитал бы их дурацкими, неуместными, подобно тому, как неуместно, неловко, например, слушать разговор влюбленных, нашпигованный идиотскими эпитетами, которыми они награждают друг друга. Тебе даже ухмыляться не хочется над всеми этими зайками и мышками, до того убого это звучит — но здесь, в подземном гараже, в этой стеклянной кабинке я думаю именно нечто в этом роде, думаю долго, потому что у меня есть время, думаю снова и снова. Может быть, если бы мы могли войти во врата, которые представляет собой Солнце, думаю я, то за вратами нас ожидало бы такое же скучное однообразие, как здесь, в подземном гараже, где ты видишь лишь тусклый свет машинных фар, а не сияющие звезды, не сказочную небесную жизнь.

Нет, я в самом деле ничего не делаю: всем здесь управляет некая центральная машина. Конечно, ты выполняешь какую-то функцию, целый день ты беспрерывно чем-нибудь занят. Ты думаешь, что все делаешь по своей собственной воле, тогда как — черта с два. Волю твою направляет какой-то механизм принуждения; если не воспитание, например, то твоя биологическая природа. Не хлебом единым жив человек. Да, конечно, не хлебом — но далеко бы он ушел без хлеба? Он все равно не смог бы придумать таких лицемерных фраз, таких аргументов, которые заставили бы его забыть свое биологическое происхождение, поместить себя — или хотя бы приблизиться к ним — среди таких духовных существ, которые абсолютно не зависят от обмена веществ, не ведают умирания, — и, конечно, именно по этой причине являются всего лишь порождениями человеческой фантазии. Кто способен представить настоящего бога, который творит мир из ничего и дает ему название? Создать мир из ничего — абсолютно невозможно. Вернуть мир в ничто — вот единственно представимый процесс, но для этого совершенно не нужен бог, не нужен придуманный, своевольный властитель, который, если тебя не наказывают человеческие законы, вечно наказывает тебя через твою же совесть, через твое нравственное чувство, и не оставляет тебе ни минуты, чтобы ты мог свободно вздохнуть, радуясь тому, что существуешь.

Тобою движет биологическая воля, и если эта воля, с общественным принуждением на заднем плане, добьется наконец, чтобы ты действовал, то ты автоматически принимаешь существующие правила, потому что правила — основополагающие условия любой деятельности. Правила существуют для рынка рабочей силы, правила существуют для веде-

ния разного рода работы, правила регламентируют твое поведение относительно других людей, выполняющих какую-либо работу, правила диктуют, как проводить время вне работы, называемое свободным временем, когда у тебя нет энергии ни на что другое, кроме как на то, чтобы тем или иным способом восстановить способность выполнять работу завтра и послезавтра.

Я не принимаю эти правила. За моей волей не стоят ни мотивы биологической необходимости, ни общественные императивы; за моей волей стою я. Если захочу, поеду к морю — но я не хочу ехать к морю, потому что не хочу ехать туда, где был столько раз. Ну да, если бы я туда попал, то — был бы там. Но я не хочу быть не там, где как раз нахожусь, не хочу своей волей влиять на то, что происходит. Потому что если я этого захочу, будет то, что я хочу, чтобы оно было. Но я не хочу, чтобы оно было. Сам я ничего для себя не хочу. Не хочу жить в плену чьей-либо воли, даже своей собственной. Каждая народившаяся воля направлена на волю других людей, подобно тому как родители заботятся о своих детях, а дети, в результате этой заботы, растут и становятся взрослыми. И если, представим себе, твоя воля подомнет под себя все прочие воли вокруг, потому что окажется самой сильной из прочих волей, то у тебя нет причин справлять триумф: ведь есть еще предметы, многотысячное множество предметов, собранных, нагроможденных твоим хотением: одежда, украшения, технические устройства, — всего по крайней мере в два раза больше, чем нужно. И в конце концов, если ты не станешь добычей людей, то наверняка станешь добычей воли вещей.

Я уже не хочу заботиться о телевизоре, о холодильнике, не хочу замороженных продуктов, чтобы

в разгар зимы наслаждаться, скажем, дарами леса. Это же смеху подобно, сколько денег ты тратишь на то, чтобы заморозить какие-нибудь купленные по бросовой цене овощи. Я посчитал это еще тогда, когда жил по-другому, потому что та жизнь мне казалась разумной, и мне даже в голову не приходило усомниться в том, что это хорошо; это — то есть дети, дом, в котором все больше памятных вещей и воспоминаний. Я ни на миг не мог усомниться в этом, потому что невозможно усомниться в той среде, в которой ты существуешь, ведь ты — часть этой среды, и нет такой точки, с которой ты мог бы взглянуть на нее со стороны, с которой ты увидел бы самого себя, посмотрел и оценил, как ты, подобно какому-нибудь механизму, живешь день за днем.

Так вот, тогда я и высчитал, во сколько обходится пакет зеленого горошка, если несколько месяцев держать его в морозильной камере. Я сидел около холодильника, горошек уже был распакован, упаковка валялась на кухонном полу; жена сказала, надо купить, очень полезная штука, благодаря ей мы не будем зависеть, по крайней мере в плане съестного, от смены времен года; и я, заглянув в инструкцию холодильника, посчитал, во что нам обойдется замораживание одного пакета. А опираясь на эту цифру, прикинул примерную стоимость блюда, изготовленного из продуктов, которые хранились в морозильной камере, скажем, около года. Стоимость получилась близкой к ценам в самых дорогих ресторанах. И это — простой суп из зеленого горошка. То есть на деньги, которые мы тратим за пользование морозильной камерой, мы могли бы питаться в дорогих ресторанах. Причем, что интересно, ездить в ресторан на такси — если мы не хотим выбрасывать сумасшедшие деньги на автомобиль, цена которого,

едва ты вывел его из автосалона, моментально падает на двадцать процентов, а месячные затраты, со страховкой, обязательным техобслуживанием и бензином, сколько его нужно на месяц, намного превышают расходы на содержание одного ребенка.

Быт наш полон такими устройствами и механизмами; они шарят по твоим карманам и постоянно требуют, чтобы ты платил за них. Все, что нас окружает, обязательно что-нибудь да потребляет; ты еще и с постели не встал, а твои машины потребляют и потребляют, даже в спящем режиме они жрут твои деньги. Разного рода службы едва успевают записывать доходы. Все это напоминает чувство вины у католиков: ты, положим, спишь, а сознание вины живет, разбухает в твоей голове, пробуждает угрызения совести, так что, проснувшись и решив побриться, ты увидишь в зеркале безнадежно растленного типа, и тебе захочется грохнуть кулаком по голубой, как крокус, раковине, хотя день твой еще и не начинался.

Ты оплачиваешь счета и уже готов удовлетворенно откинуться на спинку стула, вот, мол, как славно, теперь я по нулям, — но ничего подобного. За то мгновение, пока ты откидываешься на спинку стула, ты уже сдвинулся с нуля, причем в минусовом направлении, потому что квартира твоя непрестанно высасывает у тебя деньги, а к этому, как бы в виде бонуса, добавляются разного рода счета и задолженности, которые необходимо безоговорочно, немедленно оплатить, иначе для тебя перестает существовать современная медицина, ты можешь откинуть копыта от какого-нибудь элементарного воспаления легких, потому что у тебя уже не будет права воспользоваться современным врачебным обслуживанием.

Затем следует реклама, побуждающая к покупкам всяких товаров со скидками, и рекламу эту, как всем вокруг, тебе тоже приходится заглотить. Например, ты покупаешь что-нибудь в двойном количестве, потому что два предмета вместе — дешевле, чем те же два по отдельности, а о том ты и не думаешь, что два эти предмета — дороже, чем один, который тебе в общем-то и был, может, нужен, — а кому нужны, скажем, две полукилограммовые банки печеночного паштета. И наконец, дети. Они наносят тебе последний удар, потому что они — все требуют, все потребляют. Ты словно подключаешь к сети лесопилку, набитую машинами прошлого века. Они высасывают из тебя всю энергию, а заодно и деньги. Если, положим, ты, с помощью безумно дорогих энергосберегающих лампочек и кухонных приборов, снизил до минимума потребление электричества в квартире, если тебе удалось отбиться от тысячи заманчивых предложений выгодно приобрести то и се, то — вот дети, а с ними — новая, бездонная статья расходов.

Покупая самые современные игрушки и одежду, затем школьные принадлежности, ты истратишь все деньги, которые, может быть, сэкономил, отказываясь от всяких иных предложений. А если ты стал тратить эти деньги, то растратишь и доходы, которые сможешь получить только в будущем: ведь денежная система построена таким образом, чтобы ты использовал и те деньги, которые зарабатываешь лишь спустя десять лет. Банки очень устраивает, чтобы ты пользовался получаемыми в старости доходами не только на склоне лет, но и в течение всей предыдущей жизни. Тебе звонят по телефону: алло, сейчас вы можете получить такой-то и такой-то кредит на более выгодных условиях, чем в прошлый раз, ког-

да тебе звонили по этому же вопросу, тебе нужно только прийти в офис, потому что детали все-таки лучше обсудить лично, и тогда тебе еще дадут в подарок ручку с надписью «Банк» или чайную чашку с логотипом и рекламными цветами банка. Сейчас — самый момент, говорит служащий банка, и ты соглашаешься воспользоваться такой возможностью, ведь сейчас это, можно сказать, подарок, говорит банковский служащий доверительным тоном. Проценты по кредиту, правда, могут измениться, но, к счастью, эти проценты все равно невозможно просчитать, так что ты не догадаешься, во сколько обошлось тебе предоставленное авансом счастье. Разве что ситуация сложится так, что ты не сможешь выплатить долг и финансовое учреждение заберет твою квартиру. Что ж, тогда ты, по крайней мере, поймешь, что это, авансом полученное, благополучие обошлось слишком дорого.

Кредиты ввергают тебя в состояние полной зависимости, откуда никто не сможет, да и не захочет тебя вытаскивать, ведь всем хорошо, что ты оказался в таком положении. Родители рады: им удалось воспитать хорошего гражданина, который живет точно такой жизнью, какой жили они, то есть ограниченной со всех сторон и полностью прозрачной. Жена рада: у тебя не останется денег, чтобы попытаться что-то изменить в своей жизни, загубленной женитьбой, — если нет денег, значит, ты навсегда увяз в болоте своего постылого брака. И радо, конечно, государство: ему необходимы такие, полностью зависимые от него граждане, голоса которых в установленные законом сроки оно сможет собрать даже с помощью самых примитивных выборных программ. Зависимый человек — главный устой современной демократии, которая куда изощренней,

чем все прежние государственные уклады. Если в рабовладельческом обществе взаимоотношения между государством и гражданином были просты и однозначны, то современная демократия представляет дело так, будто человек, обрушивая на свою голову беспощадную авторитарную власть, обязан этим своему свободному решению. Будто человек сам выбирает для себя рабство, которое обеспечено различными свободами и правами, в том числе правом свободного выбора.

Эта свободно избранная власть, ссылаясь на волю большинства, может вволю разбойничать, заниматься грабежом, принимать такие законы, которые ущемляют интересы того самого, голосующего за нее большинства, а заодно и не голосующего за нее меньшинства. Большинство, однако, не замечает, что эти законы приносят ему вред: ведь вера в правящую силу становится препятствием для всякого рода свободного размышления. Меньшинство же пускай сколько угодно жалуется и стонет. Если оно, положим, правильно замечает ошибки, то и в этом случае оказывается под подозрением: мол, оно критикует и выражает недовольство потому, что очень уж хочет пробраться к власти, а также потому, что его терзает обида, поскольку его не допустили к власти. Свободные выборы снимают с политических руководителей личную ответственность: ведь они оказались в этом статусе не благодаря своим личным качествам и достоинствам, но в результате воли большинства, причем каждый из них — представитель до мозга костей коррумпированной, любым своим действием ориентированной на негативную селекцию, на инерцию политической структуры.

Руководители демократического общества, как правило, мелочные, корыстные ловкачи, карьеристы; точно такие же и их советники. Сам режим за-

ботится о том, чтобы по-другому и быть не могло: ведь если кто-то попадает сюда, на верхние этажи власти, не из корыстных интересов, но представляя интересы общества, он или тут же потерпит крах, или вынужден будет заключать такие союзы и комплоты, которые коренным образом повлияют на его поступки, и он быстро забудет, что когда-то проповедовал идею справедливого общества. Он окажется в одном ряду с другими — и будет подставлять ладонь, когда нужно, и постарается солидными суммами компенсировать утрату прежних идей, а заодно — и утрату прежней внешности. Ибо внутренний распад быстро проявится и в фигуре и чертах лица. Четыре года в парламенте — и его можно сдавать в архив: даже родная мать не узнает прежнего кандидата в депутаты.

Но ты — не таков, для тебя не имеет значения, что весь мир заиклился на том, чтобы самым жестоким образом осложнить тебе жизнь, ты во всем этом бардаке не замечаешь абсолютно ничего, потому что от коммерческой прессы и от руководителей страны до самых близких твоих родственников и друзей каждый убеждает тебя в том, что ты должен чувствовать себя однозначно: то есть хорошо. В государствах с более высоким уровнем развития уже почти стерся, забылся запас слов, относящийся к дурному самочувствию; слова эти используются разве что по отношению к убогим обитателям третьего мира.

Для тебя ничего иного и быть не может, кроме как — хорошо; это подсказывает тебе все и вся. Хотя для того, чтобы тебе было по-настоящему хорошо, к тому же настолько хорошо, чтобы это видели и другие, необходимо, чтобы ты покупал всякого рода средства, которые служат хорошему самочувствию. Достаточно лишь посмотреть рекламную

программу телевизора, чтобы убедиться: ты в два счета можешь избавиться от грибка на ногтях, ты и моргнуть не успеешь, как у тебя прекратятся боли в позвоночнике, горле и голове. Когда все эти оздоровительные предложения и различные, особенно рекомендуемые детям и молодым людям электронные гаджеты, и бодрящие средства, и, конечно, химические препараты, предназначенные для семейного пользования, особенно же для матерей семейства, занятых домашним хозяйством, когда все это будет у тебя позади, изготовители рекламы сообщат тебе, что без средств, служащих благополучию, невозможно реализовать программу благополучия. Если же ты не реализуешь эту программу, то свои занятия в свободное время спокойно можешь считать примитивными, и, стало быть, свободное время будешь считать не благополучием, а, напротив, его отсутствием.

Не выполнив до конца программу благополучия, ты сможешь лишь ощутить, что тебе плохо; к тому же, поскольку ты не обзавелся необходимыми средствами, ничто не сможет отвлечь твоё внимание от того факта, что тебе плохо. К счастью, однако, различные предприятия богатым ассортиментом своих предложений существенно облегчают приобретение таких средств. Тебе даже в магазин не нужно идти: заказав по телефону или в Интернете, ты можешь их получить прямо на дом; более того, если позвонишь в течение часа-двух, ты получишь еще и подарок. Например, замечательную фляжку или легинсы; ну еще, может быть, сумку-холодильник, которая, если это не подарок, стоит целое состояние; но факт, что практичной и быстрой покупкой средств благополучия ты добьешься ощутимой экономии расходов для себя и своей семьи.

Ты можешь заниматься активным отдыхом, если, например, у тебя есть лыжное снаряжение; конечно, если оно есть, то пускай оно и выглядит не самым дешевым. Не вздумай покупать его на распродаже, по бросовой цене, потому что по нему это сразу видно. Если ты себя уважаешь, то и близко не подходи к такой распродаже, не выставляй на всеобщее обозрение свое безденежье. Если же ты все-таки пошел туда, дети твои тысячу раз тебе об этом напомнят, дескать, им все детство пришлось провести в свитере, который кто-то выбросил. А на лыжной прогулке, вместо того чтобы, забыв обо всем, наслаждаться приятным зимним времяпрепровождением, они с первой до последней минуты боятся: вдруг встретится им на лыжне тот подросток, который из этого свитера вырос, и пальцем, а вернее, лыжной палкой станет показывать, мол, глянь-ка, этот парнишка в моем свитере катается. Если уж покупаешь что-то, то оно должно быть таким, чтобы в нем не стыдно было скатиться по склону. Само снаряжение уже издали должно показывать: смотрите, я активно провожу свободное время. И абонемент на пользование лыжной трассой приобретаю не только на послеобеденное время, потому что каждый же увидит и поймет: ты потому пришел к двум часам, чтобы полцены сэкономить. Напрасно ты будешь говорить, мол, тебе и пары часов после обеда вполне достаточно, — никто этому не поверит, и люди станут ухмыляться у тебя за спиной, мол, ты такой неудачник, что тебе хватает только на дешевый послеобеденный абонемент.

С дешевым снаряжением да с половинным абонементом лучше в лыжном раю не показываться. А бывает такой лыжный рай, где даже с хорошим снаряжением появиться — никакой радости. Рассказы-

вать о словацкой лыжне категории В — чистое самоубийство. Никто тебя не спросит, какой там пейзаж и хорошая ли лыжня, спросят разве что, сколько раз ломался подъемник и правда ли, что для того, чтобы один раз съехать, полчаса надо стоять в очереди. На это ты примешься объяснять, дескать, ничего подобного, подъемники там очень хорошие, производит их та же австрийская фирма, и ни о какой очереди и речи нет, ведь эти словаки не отстают от других, — однако на второй фразе ты замечаешь, что никто тебя не слушает. Разговор уже идет об австрийских, французских, итальянских альпийских лыжных курортах, о норвежских глетчерах, скатываться с которых — чистая сказка, и о каких-то особенных, изготовленных из нового, всего пару лет назад разработанного материала, шикарных лыжах, которые выполняют вираж почти сами собой и такие стремительные, что без шлема на них становиться — чистая гибель. Они давно купили эту новую модель, рассказывают собеседники, без нее катание уже и представить не могут, в то время как ты все еще пользуешься лыжами фирмы «Близзард», на которые можно смотреть разве что как на музейный экспонат. Или лыжами «атомик», моделью, которая вышла из моды еще до твоего рождения, а к тебе попала по случаю очередного дня избавления от мусора, один знакомый тебе отдал, потому что слишком уж много воспоминаний с ними было связано, не хватило у него решимости просто их взять и выбросить. С таким снаряжением на хорошей лыжне уж точно нельзя показываться, да и на плохой лыжне на тебя станут показывать пальцами, и морда у тебя будет гореть от стыда даже при минус десяти градусах. Если ты окажешься в подъемнике с другим лыжником, он тут же спросит, откуда, мол,

это барахло, а ты выдумашь какую-нибудь сказку про находящуюся за тридевять земель фабрику, которая специализируется на моделях «old skis», но, пока ты начнешь ее рассказывать, вы уже наверху, и надо выходить.

Наконец сходит снег, лыжи можно убрать подальше, ты уже готов вздохнуть с облегчением, ах, мол, как мы хорошо себя чувствовали этой зимой и насколько мы здоровее тех наших соотечественников, которые, забравшись в теплую комнату, толстели там с недели на неделю от гиподинамии... Только вот беда: как только уходит зима, тут же приходит весна. Нет, солнце не для того принимается припекать, чтобы разбудить дремлющие почки деревьев, солнце светит для того, чтобы выманить из подвальных кладовых велосипеды. На велосипедах ездят все. Никто не считается с тем, в какой мере эта сумасшедшая нагрузка вредит суставам, разрушая хрящевую ткань. Но выхода нет, ты должен садиться на велосипед. Прогулки на велосипеде — исключительно полезное времяпрепровождение, оно доставляет много радости на уик-эндах. Эта истина не может даже на мгновение подвергаться сомнению в голове благополучного городского жителя. И вместо того чтобы всячески избегать этого занятия, из-за его вредного влияния на твое здоровье, ты, чтобы не выделяться среди других, вынужден покупать продукцию реабилитационного свойства, всякие препараты, которые укрепляют хрящи и содержат кучу витаминов и минералов, — и тем самым, кроме обычных расходов на велосипед, еще увеличиваешь денежные траты, усугубляя свою роковую зависимость от места службы: ведь если что, где ты найдешь снова должность с таким жалованьем. После

доброй велосипедной прогулки на уик-энде ты, с трясущимися коленями, приходишь в понедельник на работу и полностью подчиняешься деспотическим причудам начальника, судорожно пытаешься соответствовать требованиям, которые непосильны и для двух нормальных людей.

Ты никому не рассказываешь о своих велосипедных прогулках, чтобы не пробуждать зависть у сослуживцев: не дай бог, кто-нибудь из них зайдет к начальнику и, отчитываясь о работе, как бы между делом скажет, мол, у этого парня, как видно, жалованье слишком большое, а работает он слишком мало, потому что на уик-энде, когда я вот потел над деталями такого-то проекта, он, видите ли, гонял на велосипеде вокруг озера Фертё, останавливаясь в прибрежных городках и покупая прохладительные напитки с друзьями и членами семьи, участвовавшими в этой прогулке, а потом, устроившись в каком-нибудь из уютных гнездышек, построенных специально для велосипедистов, изучал пернатый мир озера Фертё, подменяя проблемы работы всякими небылицами о неизвестных науке водных птицах.

Эта информация приводит начальника в ярость: ведь он, как всем известно, трудоголик, у него в ноутбуке хранится полная база данных фирмы, так что он, в каждый свободный момент, анализирует эти данные. Он даже Париж не стал осматривать, когда был там со своей новой подругой, отчасти потому, что уже видел Париж в детстве, а главным образом потому, что не мог оторваться от своего ноутбука, когда же подруга выразила недовольство, он раздраженно закричал на нее, мол, ты что, не можешь одна посмотреть тот дурацкий музей или ту дерьмовую средневековую церковь, — он имел в виду Музей д'Орсе и собор Нотр-Дам. Словом, начальника этот

велосипедный уик-энд приводит в ярость, а у ярости есть вполне ожидаемые последствия, но тут я даже не продолжаю, ведь всем известны жестокие законы рынка рабочей силы, где наемные работники из-за своего полностью зависимого положения вынуждены терпеть любые капризы и причуды работодателя и, более того, стараясь выделиться среди коллег, добровольно остаются на рабочем месте даже после завершения рабочего дня. Когда кто-то (например, в ожидании близкого наследства) чувствует, что он не так уж зависит от работодателя, то, если он не хочет раньше времени оказаться на улице, ему все равно приходится изображать полное подчинение и полную лояльность. Коль скоро начальник учует, что жизнь того или иного работника не на сто процентов зависит от фирмы, то лучше всего, если работник этот сам постарается убраться восвояси, иначе его выставят так или иначе, и не думайте, что уволят с выходным пособием, бросьте вы это. Есть надежный и проверенный метод: по прошествии нескольких месяцев нервной, изматывающей работы ты уже не пишешь заявление об освобождении от должности, а просто сбегаешь, даже если тебе приходится бросить на прежнем месте множество личных вещей... Нет, впрочем, не совсем так. Со мной, во всяком случае, было не так, хотя, собственно говоря, вообще не имеет никакого значения, как было со мной. Не в этом дело. Мне никто не говорил, дескать, давай уходи, ты нам надоел, мы тебе всю душу вымотаем, если не уйдешь по-хорошему. Совсем наоборот. Мне если бы и сказали что-нибудь, то сказали бы, оставайся, мол, ведь ты так много сделал для успеха исследовательской группы. Они не хотели, чтобы я уходил. Я сам решил, что новейшие достижения физики меня больше не интересуют, не

испытываю я никакого любопытства относительно новых частиц, которые меньше даже самых-самых — до сих пор — маленьких и которые, как можно представить, некогда послужили катализатором Большого взрыва. Я просто встал и ушел. Вышел из ворот нашего института в Чиллеберце* и двинулся в сторону гор, чтобы наконец увидеть мир, увидеть целиком: целые деревья, целые листья, целые поваленные стволы — целые, а не разложенные на мелкие частицы.

Конечно, в противовес программам дорогого отдыха, как вариант можно выбрать еще туризм. Туризм бесплатный. Роскошные места, тенистые рощи, и все это бесплатно; ну, не считая дорогу. У меня есть время об этом подумать. Что мне еще делать в подземном гараже. Конечно же мне тут скучно, нужно чем-то себя занять. Последний день. Осталось уже недолго. Туризм — своего рода бегство от программ дорогого, насыщенного отдыха. Туризм — это доступно любому. Это, может быть, даже дешевле, чем сидеть дома: ведь воскресный обед можно заменить кусочком поджаренного на костре сала или запеченной сосиской. Дети, те вообще будут рады, по крайней мере, до определенного возраста. Тут можно собирать хворост, смотреть в огонь, рассыпать сколько хочешь крошки, прижаться к отцу, который выстреливает вертел так ловко, как никакой другой отец наверняка не сумеет.

Такая экономная программа выходного дня не давала покоя фирмам, производящим снаряжение для содержательного свободного времени. Сначала они экспериментировали со специальной туристической обувью, то есть с такой обувью, которую мож-

* Чиллеберц — район на окраине Будапешта.

но использовать исключительно в случаях, когда ты бродишь по романтической австрийской местности, вообще же эту обувь целый год нужно как-то обходить, потому что она всегда мешается под ногами. Лучше всего для нее сделать специальный шкафчик, и чтобы там же можно было складывать прочую специальную обувь, которую надеваешь раз или два в году. Но туристические башмаки — это для предприятий, специализирующихся на такой продукции, оказалось недостаточно, все еще оставался значительный круг людей, которые говорили: чтобы пойти в лес, вполне достаточно обычной обуви. Вот для этого круга, мечтающего обойтись без лишних расходов, а также для тех, кто не выдержал велосипедных прогулок, регулярных пробежек и усиленной гимнастики, и была выдумана скандинавская ходьба. Чтобы ты за сумасшедшие деньги купил себе пару идиотских палок. Честно говоря, покупаешь ты чистую фикцию. Вроде того, как в Париже одно время продавали пустые консервные банки с надписью «Paris air», — конечно, банки эти делали в Гонконге, и если быть точными, то в банках этих был «Hong Kong air», однако никого это не смущало: что из того, что на нижней стороне банки было написано «Made in Hong Kong», ты покупал, потому что дешево. На банке была нарисована Эйфелева башня, а больше ничего и не надо, открывать ведь ее все равно никто не откроет, потому что тогда самая суть пропадет, запечатанный в банку воздух смешается с домашним, и в результате не будет у тебя ни парижского, ни гонконгского воздуха, а только привычный, домашний.

Люди — существа до того глупые, что с ними и правда можно делать что хочешь! Палку, которую на протяжении тысячелетий человек, если нужно

было, подбирал с земли или выламывал из куста, теперь, мороча голову правилами здоровой ходьбы, без особых усилий можно всучить туристам за хорошие деньги. Хотя она только мешается под ногами, за исключением того короткого времени, когда ты ею пользуешься. А когда пользуешься, то есть когда думаешь, что избавляешь от лишнего веса позвоночник и тем самым оберегаешь эту опору тела от преждевременного изнашивания, — ты и думать не думаешь о том, что изнашивается незаметно: ведь в результате противоестественной ходьбы спустя некоторое время возникнут неожиданные проблемы с бедренными суставами. Конечно, любой знает, что для таких случаев уже разработаны соответственные, сумасшедше дорогие протезы. Очень даже может быть, что именно производители протезов и финансировали рекламную кампанию по популяризации этого самого нордик-уокинга. Потому что система эта невероятно коварна, невероятно корыстна и полностью непрозрачна. И во всей этой системе самая подлая и коварная — индустрия здравоохранения. Ведь за ней стоят фирмы по производству лекарств, они стоят даже за военными приготовлениями, как и за революциями и гражданскими войнами; но заинтересованной стороной они являются и в тех случаях, когда речь идет об ураганах, землетрясениях, извержениях вулканов.

Когда врач прописывает тебе какое-нибудь лекарство, ты понятия не имеешь, не получает ли он вознаграждение от фирмы, которая заинтересована в реализации этого лекарства; как понятия не имеешь, эффективно оно или нет. Может, истратив на него целое состояние, ты тихо подохнешь от какой-нибудь опухоли. Ты умрешь, и на счете у тебя не остается денег даже на похороны, а государство

напоследок еще и твой труп обложит налогом, — и все потому, что тот поганый врач навязал тебе это лекарство, хотя, если бы он сказал, не принимай ничего, ты бы, возможно, прожил на полгода дольше. Но он не может тебе ничего не прописывать, потому что он таков, каков есть, и, когда фирма по производству лекарств перечислит на его счет оговоренную сумму, да еще в подарок устроит поездку на Бали, он быстро убедит себя в том, что средство, которое он тебе прописал, могло быть только полезным. Просто когда он позвонит в банк и механический голос скажет, сколько миллионов у него на счете, он поверит в это средство: ведь вот ему-то оно помогло, пускай не в смысле здоровья, но хотя бы в материальном плане. Наконец-то стало более сносным его невыносимое материальное положение, то положение, в которое, как большинство мужчин, его, конечно, поставила любовь; вернее, новая любовь.

Был у него дома человек, с которым он однажды уже проделал все то, что называется любовью. Выбрал он этого человека со своего курса, точнее, из того довольно узкого круга, в котором провел университетские годы. Они, студенты, входившие в этот круг, считали себя самой крутой компанией, хотя в университете была по крайней мере еще дюжина таких компаний, и каждая из них себя считала самой крутой, а по этой причине презирала остальные компании, члены которых и по отдельности-то — чистые идиоты, ну а уж вместе!.. Отсюда, из своей компании, он и выбрал себе пару. Он ни на минуту не задумывался над тем, как это может быть, чтобы именно в этом узком дружеском кругу он нашел женщину, которая для него, для его души станет, что называется, идеальной второй половиной. Это даже

вопросов не вызывало и было столь же однозначно, как пример с расколотой тарелкой: две половины точно подходят друг к другу. Он просто считал себя счастливчиком, так же как, впрочем, и девушка: ведь они знают всего-навсего несколько человек из целого мира, из тех миллиардов, которые его населяют, и вот им каким-то образом удалось найти того настоящего, единственного, с кем в скором времени сложится не только их общая жизнь, но и общее домашнее хозяйство, и даже общий запах, общая бактериальная флора.

А сейчас этот врач нашел буквально то же самое в больнице, после того, как прожил почти двадцать лет в браке, после того, как дети его почти выросли, — в одной медсестре. Медсестра эта служила там уже целый год, когда он заметил ее во время какого-то ночного дежурства. Конечно, медсестра как раз целый год и хотела быть замеченной господином доктором: постоянно носила броские, яркие платья, ее белый халат иногда случайно расстегивался на груди; но для господина доктора вызов этот стал реальностью только год спустя.

Вот уж не думал он, что в нем скрыто столько энергии, сказал он однажды друзьям, с которыми они после работы пили пиво. Он-то полагал, поезд давно ушел, но, оказывается, это только дома, а в другом месте — подмигнул он, и на лице у него появилась горделивая полуулыбка, — в другом месте еще о-го-го. Более того, дело идет лучше, и он снова подмигнул, чем в молодые годы. Брось, наверняка и тогда хорошо шло, сказал один из сидящих за столом, просто ты не помнишь, потому что давно было, и вообще, известно же, когда-нибудь все новое становится старым, вот как машина, продолжал собеседник. Пять лет назад он думал, что с этой ма-

шиной протянет до конца жизни, чего их все время менять, но в конце концов и эта стала пятилетней, и хлопотно, и дорого поддерживать ее в кондиции, теперь даже запах в салоне уже не тот, из-за долгой эксплуатации. И что, купил новую, спросил третий. Ну да, ответил второй, и они принялись обсуждать машины и марки горючего, состав которого нынешние производители прячут за семью замками, хотя, если этот состав попадет на рынок, можно будет ездить бесплатно, не нужна никакая заправка, только кран с водой. Врач ждал момента, чтобы вставить слово и снова заговорить о своей необычной встрече, но так и не дождался. Друзья как-то не прочувствовали необычность этого события, да и завистливы были, они-то уже поставили крест на возможности чего-то нового, довольствовались пивом, поездкой на садовый участок, ну и изредка возможностью уединиться с какой-нибудь медсестрой или выздоровевшей пациенткой, иногда и училка, к которой ходили дети, тоже оказывалась под рукой. Они были завистливы, но никогда не рискнули бы ради неопределенной новизны поставить под удар налаженное за десятилетия надежное бытие и ту степень свободы, которую удалось отстоять при живой жене.

Врач, как раньше по отношению к жене, так и сейчас, в связи с медсестрой, даже мысли не допускал о каком-то неожиданном, сказочном совпадении. Да, он в самом деле видел несказанную удачу в том, что — уже во второй раз — находит, причем совсем рядом, женщину, которую однозначно может считать своей избранницей. Подобная любовная связь между врачом и медсестрой, как и вообще любая связь, возникающая на службе, настолько обычна, что ты почти готов считать: оказаться в такой ситуации — скучно

и смехотворно, и все-таки большинство людей подобного избежать не могут. Они делают все, что допускается в таких обстоятельствах, потому что это напрашивается вроде бы само собой, — ведь выбрать кого-то другого, в каком-то другом месте, это же требует гораздо больше времени. Так что люди все-таки ступают на этот путь; или, если нет, если остаются дома, что тоже не выглядит таким уж хорошим решением, то из-за упущенного приключения или приключений ненавидят свою жену, рядом с которой они выдержали, по привычке или из-за пассивности характера, столько лет, вплоть до самой ее смерти или до того момента, пока у жены не начнется нервное истощение и муж не испытает искреннюю радость, что наконец-то судьба наказала старую гримзу. Словом, так рубит под собой сук каждый, хотя рубить он может только один сук, два — никому не дано.

Полно вам, чувство, чувство, бросьте вы это, чувство — такая же иллюзия, как то, что земля — центр мироздания, иллюзию эту человек изживает, достигнув определенного возраста. Ведь то, что случайно, под воздействием биологических факторов зарождается по отношению к случайно находящемуся рядом человеку, нет оснований называть чувством. Не говоря уж о том, что оно исчезает точно так же, как возникло. Если человек целый год или пускай два думал, что не может жить без него, утром он не в состоянии перестать чувствовать запах тела партнера, он не способен смотреть на другого человека, если не видит того, единственного, — все это свидетельствует как раз о противоположном. Совместное бытие он ощущает как принуждение и постоянно ищет возможности, которые позволили бы ему на-

ходиться отдельно. Близость порождает в нем сначала отчуждение, потом — уже отвращение. Дыхание партнера, которое раньше он считал таким милым сопением, даже говорил, смотри-ка, будто котенок, — теперь он слышит как невыносимый храп, который не дает ему спать, и потому вынужден переселиться в другую комнату, чтобы хотя бы на работе не клевать носом.

Единственный шанс, дающий надежду на прочность совместной жизни, — то, что в этот, в эмоциональном плане наиболее интенсивный период была достигнута достаточно полная телесная гармония, если супруги знают, что нужно сделать и почему, чтобы привести в действие сексуальную механику, если они сразу находят нужный контакт, выключатель, а не ощупывают стену вслепую, как в каком-нибудь незнакомом месте, скажем, в какой-нибудь провинциальной гостинице, где в самом деле выключатель умеют поместить в самом несуразном месте, так что, пока его найдешь, ты уже наткнулся на шкаф, или опрокинул стул, или ударился лбом о какой-нибудь угол. Если нет телесного контакта, даже семейный терапевт захлопнет перед тобой дверь. Это единственное, что способно уберечь отношения от роковой амортизации. При этом партнер, по крайней мере, может выполнять те естественные функции, ради которых он на самом деле и был избран. Не нужно предпринимать каких-то чрезмерных усилий, бегать за новыми женщинами, чтобы удовлетворение было хотя бы на уровне нормального здоровья.

Конечно, нет такого закона, что тебе нужен именно этот партнер и что это как раз тот, который у тебя есть. Нет закона, что нужен только и исключительно он. Нет, у тебя может быть и другой или

другие. Как не является законом и то, чтобы — тут, а не где-нибудь еще. Эти законы, если они и воспринимаются таковыми, представляют собой всего лишь правила, которые мы придумали для себя, чтобы в данных обстоятельствах быть самыми полезными и вместе с тем самыми зависимыми членами общества. В результате и возникла, например, семья. Потому что семья есть то микросообщество, которое способно поддерживать в оптимальной кондиции рабочую силу, а сверх того может даже помочь сформулировать для себя и какие-то более масштабные общественные цели, ради которых человек согласен будет жертвовать своим комфортом. Особенно если за этими целями, скажем, стоит жена, которая не отстанет от мужа до тех пор, пока не заставит его купить более комфортабельную квартиру, или какой-нибудь электроприбор, или игру, без которой ребенок чувствует себя обделенным, или одежду, или поездку на модный курорт. Семья как некая единица общества — самая надежная опора всегдашней властной практики, государства и частной собственности. И что из того, что более половины семей рано или поздно распадается, — на семью не должна пасть даже тень подозрения в деструктивности: тот, кто попытается бросить на семью подобную тень, в тот же момент будет заклеен как отъявленный негодяй, который в конечном счете стремится к разрушению общества. Таких негодяев надо изгонять, желательно в пустыню, пускай ведут там, подобно растениям, жизнь, лишенную всякой ценности. Хотя и государство, и общество, а в нем и семья (со всей той фальшью, которая сопровождает жизнь каждой семьи, особенно буржуазной, где формальная сторона соблюдается с особым, подчас виртуозным старанием), как раз с

помощью той самой формальной стороны, в конечном счете и ломает человека, лишает его внутреннего стержня, уничтожает его самостоятельность и свободу. Эти формы настолько прочно закрепляются в жизни, что спустя какое-то время их невозможно сломать, а если кто-нибудь все же попытается это сделать, то немедленно будет отвергнут теми, кто до сих пор был ему близок. Он станет для всех чужим, словно попал сюда с другой планеты. Словно инопланетянин, который и выглядит-то совершенно по-идиотски: на голове у него гребень, кожа покрыта чешуей, а звуки он издает такие, какие издают, по рассказам очевидцев, обитатели НЛО. Люди ухмыляются у него за спиной, дескать, вот кретин, он думает, мир какой-то не такой, мир ужасен, и, встав в позу пророка, обличает ложь. Считает себя пророком, говорят о нем люди, а дело-то в том, что он профукал свою жизнь и теперь за этот личный крах пытается возложить ответственность на других, можно сказать, на весь мир, на каждую отдельную минуту каждого отдельного человека. Свихнулся парень, сбрендил, говорят про него, и добавляют, что это уже в университете за ним замечали, правда, тогда безумие еще не было таким явным, но это только вопрос времени, когда человек дойдет до точки. А ведь он, этот человек, всего лишь сбросил с себя путы пустых форм. Не захотел продолжать ту, так сказать, здоровую жизнь, куда входят спорт, современный режим питания, ну и все такое, благодаря чему можно на десятилетия продлить жизнь, в действительности совершенно бессодержательную.

Тот, кто говорит о святости семьи, на самом деле говорит о преемственности власти, потому что семья — это не есть нечто святое, даже Святая семья не есть нечто святое, потому что такого нет и не

может быть. Потому что: единый Бог — это сколько? Трое? И есть же еще четвертая, на приставной скамеечке, Мария, которая сама по себе — не Бог, она только родила Бога. Ну и еще Святой дух, который, по всей вероятности, был на самом деле святой Иосиф или кто-то там еще из деревни, какой-нибудь мужик постарше, а святой Иосиф взял вину на себя. Ему негде было жить, но у Марии жилье было, или согрешившая девушка просто привела его к себе, а когда дело получило огласку — потому что ребенок родился раньше, — тогда она и выступила с этой историей насчет ангельской благой вести, а потом и Иосиф стал повторять это всем встречным и поперечным, в конце концов история в таком виде и разошлась, потому как иначе, твердил он, как Мария оказалась бы беременной? Хотя и тогда, и, собственно говоря, с тех пор все понимают, что такого быть не может и что был какой-то конкретный мужик — в то время даже имя его знали, — который, да вы смеетесь, что ли, не был никаким Отцом небесным, а просто мужиком, скажем, лет шестидесяти, — словом, он и замешан в этой истории.

Стареющие мужики всегда так поступают, и тогда, и после. Они всем чем только можно — и зубами, и прочим — цепляются за жизнь, и всегда умеют сказать молодым девкам что-нибудь такое, от чего те в самом деле думают, что происходит с ними ангельское благовещение, хотя их всего-то испортили где-нибудь под кустом. Конечно, потом они догадываются, в чем суть дела, потому что тот пожилой мужик уже бог знает где, его и след простыл, может, отправился искать новую добычу или решил вернуться к жене, потому что у него никакого желания привыкать к новому жилью, женщине, собаке, кошке. Вот и Отец — просто сделал ноги из Назарета.

И тогда эти девы мариин принимаются морочить нам голову сказкой о непорочном зачатии, хотя говорит в них всего лишь ненависть и обида, что этот чертов мужик так сумел им задурить голову и, конечно, своего добился.

С этого момента они всех мужиков ненавидят, они даже свою паршивую кошку им не доверили бы — и быстренько принимают решение, если получится, отыгаться на каком-нибудь другом мужчине, уж они найдут способ, всю жизнь будут его мучить, причем так, что он же будет им благодарен. И обычно им это удается. В таких семьях и появляются, конечно, те измученные пожилые мужчины, которые, умея говорить красивые слова, норовят найти утешение, по крайней мере перед приходом окончательной и бесповоротной старости, на груди у молодых женщин, которые им кажутся совсем другими, чем жена, — и в конечном счете добиваются одного-двух объятий. А когда выясняется, что их усталая, состарившаяся сперма еще способна к оплодотворению и дело пахнет младенцем, тогда им все становится противно и они норовят навострить лыжи, чтобы тем самым одарить мир еще одной актуальной Марией, женщиной, нацеленной на то, чтобы мучить мужчин.

На эту нерушимую систему обид и страданий, на это вечное круговращение и опираются супружеские отношения. Но семья как экономическая необходимость все же оправдала надежды, которые на нее возлагались. Самые лучшие семьи функционируют наподобие процветающих инвестиционных компаний, обеспечивая их участникам комфортную жизнь. Затем, когда глава и исполнительный директор компании, отец семейства, умирает, потомков

удерживают вместе битвы за наследство или интересы общего предприятия. За пределами же экономической пользы преемственность поколений, отражающаяся и в структуре семьи, убеждает отцов и дедов, что они, умерев, продолжают жить в своих потомках. Это и есть подлинное бессмертие, твердят они друг другу, — конечно, те, у кого есть дети. Ибо семья радуется тех, кто взялся ее строить, еще и иллюзией возможности переиграть само время.

Удивительно, но на самом деле единственный ее, семьи, недостаток — то же самое, что и ее преимущество: семья обеспечивает своим членам слишком долгую жизнь, поэтому очень много пожилых людей, живущих в семьях, становятся паразитами общества. С какой стати им хотеть умирать: пенсия, хорошее социальное обеспечение, а также заботливые руки близких создают условия для вполне сносного существования. Бывает, они уже ходить не могут, более того, основные жизненные функции выполняет за них техника, но они живут, и поддержание их жизни обходится в целое состояние. Многие считают, что современное общество не должно это более терпеть: ведь если так пойдет дальше, средняя продолжительность жизни будет все увеличиваться, и тогда с уверенностью можно предсказать экономический крах, когда даже богатые страны опустятся до уровня нищеты и весь мир станет третьим миром. Таким образом, жизненный интерес современного общества связан с тем, чтобы какое-то время поддерживать семью, а потом, после того как она выполнит свои общественно полезные функции, способствовать ее разрушению.

Нахлынувшие в Вудсток молодые люди из среднего класса, которые голышом валялись тут и там на траве и в грязи, потому что в тот уик-энд все время лил дождь, и спаривались с тем, кто оказывался ря-

дом, а потом курили марихуану и читали растениям проповеди о мире во всем мире, — конечно, не думали о том, что катализатором сексуальной революции служит экономический интерес. Между тем за требованиями облегчить развод, за лозунгом «Измени свою жизнь», за принципом «Пожелай нового» стоит современная экономика. Результат методичной деятельности по разложению семейной морали таков: значительная часть взрослого населения живет постоянными парами, но лишь до тех пор, пока общество нуждается в их рабочей силе; а затем люди следуют модным веяниям, популяризируемым, например, в глянцевах журналах. Они заводят все новые и новые отношения, причем с партнерами самого разного возраста, и в конце концов их жизнь становится жизнью, свободной от всяких продолжительных связей. Новые и новые поиски счастья следуют друг за другом, в результате чего (по крайней мере, это должно быть конечной целью, как думают те, кто вообще думает) граждане растрачивают энергию и вскоре после выхода на пенсию умирают. Так общество избавляется от затягивающихся на десятилетия обязанностей по их содержанию.

Правда, те, кто придумал этот сценарий, кое-чего не учли. Сексуальная энергия, высвобождающаяся при таком образе жизни, и гормоны счастья, вырабатываемые ею, вместо ранней смерти пока лишь увеличивают среднюю продолжительность жизни. Современное общество, придумывая способы массового истребления, упрятанные под любовь зрелого или пожилого возраста, не учли специфики биологических функций. А ведь за каждым поступком, за каждой волей стоит биологически обусловленное живое существо. Если бы сохранялись жесткие семейные рамки, то, возможно, скука, эмо-

циональное опустошение в большей степени генерировали бы болезни и в какой-то мере, наряду с естественной смертью, увеличивали число старческих самоубийств.

Если учесть функционирование биологического начала, то очень может быть, что как раз сохранение семьи разрешило бы проблему старения общества. Можно предположить, некоторые консервативные правительства именно поэтому снова провозглашают святость семьи. Конечно, они достаточно коварны и никогда не выдадут, что делают это единственно с целью уничтожения стариков. Хотя, может быть, тут и выдавать нечего: какого-то хитроумного намерения тут нет, а агитация за сохранение старой семейной модели — всего лишь проявление недоброжелательства. Ведь и законы, и нацеленные на далекую перспективу стратегические концепции для данной страны — все это разрабатывают старики. И чаще всего — такие старики, которые, чтобы завоевать симпатии избирателей, хотят показать себя людьми, любящими семью и высоко ценящими семейные ценности. Исключительно ради политической карьеры они сохраняют приверженность тому, что, разумеется, давно считают не более чем пустой формой, и, когда думают над законами, защищающими семью, эту дурную судьбу планируют навязать и следующим поколениям. Они хотят, чтобы другие были такими же успешными и по крайней мере такими же несчастными, как они.

Так постепенно стареет благополучный мир. Старики, из расчетливости и эгоизма, принимают решения по вопросам, которые вообще уже не касаются их жизни, игнорируя элементарные чувства. Состарившаяся, усталая сперма вмешивается в процесс продолжения рода, — но можно ли продолжать род таким образом!

Врач, конечно, знать не знал, что в лице медсестры он напоролся как раз на еще одну, кем-то однажды униженную, готовую причинять мужчинам самые изощренные муки Марию (кстати, ее в самом деле так звали), что неслучайно этот молодой кадр перешел сюда из другой больницы, бросив гораздо более удобную работу и неплохую зарплату. Причиной был пожилой главврач, руководитель отделения, а также наивность женщины, которая по-другому понимала время, проводимое вместе в часы дежурства. Нет, наш врач этого не знал, он просто был искренне рад женщине, так же как с искренней верой выписывал сумасшедшие дорогие онкологические лекарства, убивая своих больных. Когда жертва спрашивала его, дескать, господин доктор, а нельзя ли попробовать еще какую-нибудь терапию, он отвечал, конечно, почему же нельзя, и тем самым толкал больного к пользованию всякими магическими препаратами, обрекал на зависимость от бесчисленных, сохранившихся в памяти традиционных культур методов целительства, которые, как и официальные, больному не помогали ни на грош. Официальная медицина где-то за кулисами заключила тайный пакт с альтернативным врачеванием, чтобы на пару опустошать карманы больных, делить меж собой деньги, которые люди готовы платить, чтобы избавиться от недуга. То, что не удавалось вытянуть с помощью официально прописанных лекарств, добывалось различными целебными водами, которые нужно было пить каждый день, отварами из каких-нибудь восточных растений, а еще, конечно, ауратерапией, наложением рук и лучетерапией.

В любом возрасте у человека можно найти канал, через который выкачиваются деньги. После средств, потраченных на учебу, идут средства на обеспечение семьи, затем деньги на содержательное прове-

дение свободного времени, а если кто-то выйдет отсюда с позитивным балансом, то наступает очередь здравоохранения. На здравоохранение люди отдают последнее, не жалея, что называется, живота своего, даже в буквальном смысле слова. Здравоохранение — единственная сфера, которая беззастенчиво обещает людям неограниченный срок жизни, а когда у тебя нет сомнений в том, что все сроки твои практически исчерпаны, ценность каждого лишнего дня возрастает до максимума, и понятно, что спрос на этот лишний день — невероятно велик.

В отличие от господствовавших когда-то экономических принципов, когда спрос считался лишь вторичным фактором образования цены, а на первое место ставилось количество и качество труда, затраченного на создание продукта, ну и, конечно, стоимость сырья, — реальность сейчас такова, что именно спрос определяет цену. Ничто прочее не объясняет той странности, что в бутиках модельеров, пользующихся мировой известностью, какие-нибудь предметы одежды расходятся по цене в десять — двадцать раз более высокой, чем где-либо, хотя эти предметы произведены рабским трудом одних и тех же китайских или индийских рабочих; или что цена квартир в зеленых зонах столиц в десять — пятнадцать раз превышает цену домов в провинции. Знахарство и восточное целительство, а также примкнувшая к ним армия парацелителей ориентируются именно на этот огромный спрос, в каком-нибудь конкретном случае они могут продать по цене золота высушенную полевую траву или очищенную пением воду из водопроводного крана, хотя самым большим спросом пользуются на самом деле вовсе не эти чудо-средства, а — время, о котором в какой-то момент приходится печально констатировать: оно кончилось.

Как ты можешь стать свободным? Ты есть то, чем ты стал, и никогда не станешь другим. Отец семейства, который тревожится за своих детей и, из-за этой тревоги, не смеет ничего изменить. Который постоянно живет в страхе, что если он не будет соответствовать ожиданиям, то жена выставит его за порог и он лишь раз в неделю сможет увидеть дверь своей квартиры, да и то снаружи, когда бывшая жена будет отдавать ему детей на несколько часов. И ты лезешь из кожи, чтобы выполнить эти ожидания, причем все в большем и большем количестве. Если сегодня ты мыл посуду, то завтра будешь готовить обед, послезавтра — делать уборку, и все твои старания потонут в главном, большом ожидании. Если хочешь, чтобы тебя любили больше, ты должен соответствовать все новым и новым требованиям, поражать женщину, с которой ты живешь, все новыми и новыми аттракционами, чтобы она не говорила вечером, дескать, нет, сейчас мне в самом деле не хочется, голова, работа, дети. Словом, чтобы не слышать те банальные фразы, про которые, пока ты не слышишь их, думаешь, что они звучат только в самых примитивных браках или в самых пошлых интермедиях эстрадных концертов. Ты горбишься над раковиной, голова твоя нависает над грязной посудой, и ты сам не понимаешь, как это получается, как это вообще можно совместить, что на рабочем месте ты находишься на пороге важного открытия, перед тобой, скажем, брезжит разгадка неизвестной до сих пор структуры атома углерода, а тут, дома, тебе отведен лишь кусочек кухни перед раковиной. Как такое возможно, что те, кто живет вместе с тобой, не видят той героической борьбы, которую ты ведешь, возглавляя исследовательскую группу. Как это может быть, что дома на тебя смотрят лишь как

на прислугу, которая, если не выполнит необходимые обязанности, наверняка будет наказана. И вместо сказки мать скажет, мол, Андерсен умер, сказке конец, или тебя поставят коленями на кукурузу, как в детстве, или лишат ужина, дескать, кто не работает, тот и есть не будет. Это сказал когда-то отец — и убрал стоявшую перед тобой тарелку. На ужин была манная каша. Не ахти какое блюдо, но ты, тогда еще ребенок, манную кашу с сахаром очень любил, запах корицы еще долгие годы вызывал у тебя приятные ощущения. Ты там чего-то не сделал, то ли рис от пшеницы не отделил, то ли что-то в этом роде, мусор не вынес, к примеру.

Нет, ты не можешь быть никем другим, только тем, что ты есть, и это вовсе не называется свободой. Я свободен, потому что я мог бы стать кем угодно, но не стану, потому что уже был и больше не хочу.

Я мог бы стать экономическим советником, потому что... что под этим имеется в виду? Ты поступаешь в Университет Корвина, про который все знают, что туда только попасть трудно, а закончить — раз плюнуть. В этом университете уж точно ничего от тебя не требуется, потому что, например, если ты поступишь в технический вуз, то можешь там засыпаться на чертовых чертежах, на высшей математике, в медицинском — на анатомии, на юридическом — на чем угодно, если профессор сволочь, а на филологическом факультете, пускай там не нужны какие-то особые познания и не надо столько зубрить, но там, по крайней мере, надо как-то выглядеть, носить очки, быть худым и долговязым, ну и еще требуется постоянно что-то чувствовать. А в Корвине — там в самом деле не нужно ничего.

Проучишься пять лет, опля, уже конец, ты даже и не заметил, как время прошло, ты порхал с тусовки на тусовку, родители у тебя богатые, профинансировали веселую жизнь, — и поступаешь ты к какому-нибудь мультимиллионеру или к экономисту-исследователю. Станешь аналитиком, да с таким окладом, что никто никогда не посмеет спросить, мол, что это такое, аналитик. Усвоишь, что ты должен говорить, и будешь говорить именно это. А если в один прекрасный день окажется, что ничего подобного, что эта экономическая модель как раз совсем и не действует, — ну, тогда будешь говорить прямо противоположное. Никто тебя не привлечет к ответу за то, что ты агитировал за совсем другое. А что ты тут можешь поделать: никто же не мог знать, что эта штука, ну, которая была до этого, потерпит полный крах, что финансовый рынок пойдет в другом направлении. И вообще, если бы ты тогда сказал, что тому, что было, однажды придет конец, на тебя бы посмотрели как на идиота, а международный финансовый мир счел бы тебя своим отъявленным врагом, тайным антисемитом, даже если ты на самом деле еврей. Или основателем новой религии, который во время поездки в Индию, находясь в каком-нибудь священном городе, скажем Варанаси, слишком много употребил кокаина *very cheap and high quality**, потому что, сколько ни бегал, бутылку виски так и не смог добыть.

Что с того, что ты знаешь истинное положение дел: говорить можно лишь то, что в данных обстоятельствах услышат. Все прочее услышано просто не будет. Никто не может воспринять что-то сверх того, что вмещается в рамки его жизненного опыта. По этой причине совершенно напрасно говорить,

*Очень дешево и высокого качества (англ.).

например, о строгой экономии или пускай о семи тощих годах, если в данный момент мы находимся как раз в семи тучных годах. Особенно если принять в расчет то обстоятельство, что любой и каждый призывает как можно больше потреблять — чтобы население как можно скорее избавилось от достатка, накопленного за период тучных лет. И опыт показывает, что правильно делают те, кто избавляется от этих накоплений: ведь общий крах погребет под собой и банки с тем множеством сэкономленных денег, помещенных туда людьми, которых воспитали в духе Библии или у кого в семье обязательным чтивом была книга «Иосиф и его братья» и на них большое впечатление произвел сон фараона. Против ветра плевать — дело неперспективное, лучше — по ветру.

Мог бы я стать и финансовым советником, для этого, честное слово, особой образованности не требуется. Очень многие приходят в эту профессию, причем из самых разных сфер деятельности. Иные — прямо с улицы или с филологического попприща, когда оно выглядят слишком уж бесперспективным, причем достигают успеха, потому что движение финансов — штука такая, что, вкладываешь ли ты деньги в какие-нибудь ценные бумаги совершенно наобум или делаешь это продуманно, результат практически тот же самый. Нет тут никаких закономерностей — только слепая удача или, наоборот, слепая неудача. Каждый думает, мол, нет, ничего подобного, что-то все-таки можно найти, в движении курсов акций тоже есть система, которую ты нащупаешь, если что-то в этом понимаешь, — и вкладывает баснословные суммы, чтобы остаться без гроша, тратит многие часы на то, чтобы изучить ожидаемые изменения курса. Рассчитывает на годы впе-

ред, что и сколько он получит, однако не получит ничего и нисколько. Рушится курс как раз тех бумаг, которые он считал надежными, как железобетон, а цветут и пахнут, напротив, те, которые до этого к себе ничего, кроме презрения, не вызывали, покупателей же этих бумаг много лет все считали дураками и финансово безграмотными людьми. Однако когда курс этих бумаг взлетает до небес, ну, тогда те, кого раньше презирали, ходят триумфаторами. Конечно, остальные тогда начинают подозревать, что инвесторы, которых считали дураками, на самом деле что-то такое знали, и теперь смотрят на них, как какой-нибудь греческий полководец перед битвой смотрел на дельфийского оракула, хотя люди эти на самом деле купили те бумаги лишь потому, что совершенно не знали, что делать, да еще кто-нибудь голову им задурил, кто давно хотел освободиться от своего пакета акций, или у него просто не было особого желания заморачиваться поиском более перспективных бумаг.

Финансовый успех — это всего лишь случайность, слепая удача. Следовательно, если кто-то говорит, что он специалист в сфере финансов, это значит только, что он владеет техникой коммуникации. Ибо все зависит в основном от того, как ты что-то скажешь. Если скажешь убедительно, тебе поверят, а если поверят, то это и будет правда. Так же как в окружающем нас мире: все обретает достоверность в зависимости от того, насколько люди в это поверят. А верят они тому, что слышат постоянно. Например: тот или другой способ питания — самый что ни на есть правильный и соответствующий самым высоким научным критериям; хотя все способы питания точно так же полезны — или не полезны — для нашего здоровья, как и тот, который в данный момент считается самым правильным. Сегодня

ты ни за что не должен есть яйца, завтра — мясо, а послезавтра — точно наоборот: мясо ни в коем случае нельзя исключать из меню, зато хлеб лучше обходить за версту.

Ты понятия не имеешь, за каким способом питания какая прячется экономическая сила; так же как у тебя представления нет, сколько денег получают «зеленые движения» от хозяйств, настроившихся на производство биопродукции, то есть от хозяйств, которые таким способом хотят избежать кризиса, вызванного сельскохозяйственным перепроизводством. Или какова заинтересованность производителей источников альтернативной энергии в деятельности этих политических движений; так же как ты не можешь быть уверен и в противоположном: в том, что силы, одобряющие традиционные методы производства продуктов и традиционные источники энергии, действуют чисто на основе прагматизма, а не то чтобы какая-либо экономическая сила, выбрав ту или иную тактику, укрепляла и развивала свою идеологическую и политическую власть.

Ты смотришь на частоколы ветряных электростанций в разных странах, и у тебя невольно возникает вопрос: сколько энергии, произведенной обычными способами, потребовалось для возведения этих монстров? И можно ли представить, что когда-нибудь ветряки будут производить энергии хотя бы столько же? Давным-давно канули в Лету времена, когда мы усомнились в существовании Бога, — это была, наверное, еще эпоха Атлантиды, и тогда мы лишь ломали голову над тем, что если Бог есть, то, может, Он — как игрок в кости: бросил-де творение, словно кость, на волю случая, и ждет, что получится. Сегодня мы уже не верим ни в ветряные электростанции, ни в солнечные коллекторы, ни в биоаглоки, а уж тем более в биомёд. Можете вы вообразить

себе пчел, которые старательно огибают цветы, отравленные выхлопными газами или жидкостью из опрыскивателя? Нынче всё под подозрением, а что не под подозрением, вот оно-то — самое подозрительное.

Словом, я мог бы стать финансовым советником или кем угодно, в моем распоряжении огромное количество знаний, а если я чего-то не знаю, то у меня хватает способностей это узнать. Ты, конечно, можешь быть только тем, кто ты есть. Целыми днями гнешь спину в своем институте, в Чиллеберце, и с завистью думаешь о своем коллеге, который вовремя сделал оттуда ноги и переквалифицировался в банкира, и теперь у него денег куры не клюют. Правда, он ничего не знает о нынешнем состоянии физических исследований, а если об этом и сообщит что-нибудь выписываемый им экономический журнал, он разве что посмотрит, есть ли у такого-то или такого-то открытия экономический эффект, и быстро перелистнет дальше, к ежегодным сводкам о доходах азиатских или южноамериканских фирм.

Насчет того, почему я не преподаю в университете, почему не занимаюсь научной работой, тогда как ты ею занимаешься и эта работа все же, можно сказать, лучшая из возможных, пускай даже за нее и не платят должным образом. Я тоже мог бы заниматься научной работой, но — не хочу. Ты думаешь, наука не является частью той властной структуры, которая у каждого из нас отнимает свободу. Найти себе место в системе, получать ученые степени, копить баллы для грантов, публикации, чтение лекций в зарубежных университетах, все равно каких, считаются только баллы, с ними ты можешь двигаться по карьерной лестнице. Никого не интересует глубина исследований, интересуется только их результат,

что не означает в этой сфере ничего другого, кроме умения получать различные гранты.

Что ты, кстати, исследуешь в истории — ага, с какой скоростью двигалось какое-нибудь судно в Средние века по Адриатике, — отсюда можно рассчитывать, за сколько дней товар попадал туда или сюда. По-твоему, в этом есть смысл? Ты сам знаешь, что нет. К тому же ты еще и неточен в своих заключениях: ты ведь понятия не имеешь, какие ветры господствовали на Адриатике в XIV веке. Тебе и в голову не приходит принимать это в расчет, ты же специализировался в географии, да и не все ли равно, точны твои заключения или нет: смысл всей этой твоей деятельности лишь в том, чтобы создавать видимость научной работы. Ты знаешь, что твои коллеги тоже заинтересованы в подобных исследованиях. Ты получаешь грудку второстепенных данных, как и они, и знания этих данных ты требуешь от своих студентов. Они учатся по твоей книге, а другие сведения черпают из списка литературы, который ты для них составляешь. Закончив учебу, они будут на память сыпать никому не нужные подробности о мореплавании на Адриатике, ничего не зная о человеке, который стоял на палубе, ждал, когда судно причалит к берегу в Пиране* и он наконец сможет обнять девушку, для которой построит в Ксанаду** дворец, настоящий волшебный чертог, — если, ко-

*Пиран — город в Словении, на берегу Пиранского залива Адриатического моря.

**Ксанаду, или Ксанад, или Шанад, — легендарный край на Среднем Востоке. В стихотворении Кольриджа «Кубла Хан» властитель этой страны строит роскошный дворец для своей возлюбленной.

У Яноша Хаи есть роман «Ксанаду» (1999), в основе сюжета которого — любовь венецианского купца-мореплавателя к девушке из города Пиран.

нечно, у него найдутся на это деньги. И они ничего не знают, что чувствовал тот человек, когда сердце его разбилось и с грохотом обрушились стены волшебного дворца, потому что девушка эта, пока купец плавал к противоположному берегу моря, тайно спала с другим мужчиной.

Вот так ты и живешь своей жизнью, принимая модель, предлагаемую тебе научным поприщем, и тщательно следишь за тем, чтобы не нарушить где-нибудь правила этой модели, чтобы, не дай бог, не вылезти с каким-нибудь радикальным новшеством, чтобы не заставить краснеть того старого идиота, от которого зависит твое продвижение по карьерной лестнице и вслед за которым, после его выхода на пенсию или после его смерти, ты займешь его место и с того момента сам станешь старым идиотом. В конце концов и ты получишь свой кусочек земли среди академических могил, и туда будут приходить твои дети и внуки, которые будут чувствовать, что они — потомки выдающегося человека, профессора, руководителя университетской кафедры. Они будут думать, что благодаря такому родству они перестали быть незначительными и ничтожными личностями, тогда как — черта с два. Но ты своей жизнью хотел заставить их поверить именно в это. В то, что благодаря тому, кем ты был, твои дети и внуки поднялись на иной уровень жизни, бедняги, может быть, до самой смерти своей не поймут, что жизнь их там, на том уровне, ничем не лучше и не значительней, чем у кого бы то ни было, что жизнь их точно так же лишена значения, как лишена значения любая другая жизнь.

Сегодня я проснулся с ощущением, что меня вот-вот вывернет наизнанку. Но нет. Тошнота лишь подступала к горлу; я чувствовал, будто что-то подни-

мается и разъедает мне пищевод. Кофе пить не хотелось, было почему-то противно, но я его выпил. Вот что ты собой представляешь. Биологическую систему. Твоя жизнь — взаимодействие внутренних органов, клеток, а когда что-то в тебе нарушается, ты разрушаешься весь. Ты думаешь, что-то происходит у тебя в душе, и готов бежать к психоаналитику, чтобы он помог, хотя — ничего подобного. Никакой души нет, есть только тело, оно вырабатывает что-то такое, что заставляет забыть о функциях тела, о рефlekсах, хотя и тут всего лишь — функции тела и рефlekсы. Тебя направляют движения воли, о которых ты думаешь, что они исходят из твоего сознания, но на самом деле в глубине любой воли, если разобраться и если ты не боишься делать окончательных выводов — бывает ведь, что человек боится смириться с фактом, что кто-то, близкий ему, совершил преступление. Словом, если ты бесстрастно и последовательно проанализируешь волю, то увидишь, что все это — результат действия биологических факторов. Оттуда все исходит — и на долгом пути цепляет на себя то, се: всякую одежду, какую-нибудь прическу, мажет кожу самыми дорогими кремами для лица и тела, чтобы выглядеть красивым, и в конце концов никто уже не может понять, что, например, любовь на самом деле — лишь прирученный вариант инстинкта, так же как в собаке нам уже не хочется видеть того кровожадного зверя, каким она была много тысяч лет назад.

Все находится на службе инстинктов, а поскольку ты стал существом мыслящим и у тебя появилась способность подвергать сомнению само бытие, возникла необходимость к инстинктам пристегнуть чувства, чтобы ты не сдался и не убежал, прежде чем, скажем, ты выполнишь свою работу по продолжению рода.

Ты не убежал, ты веришь рекламе и работникам массовой коммуникации, которые демонстрируют на коммерческих каналах свои сверкающие искусственные челюсти, веришь, что ты — существо особенное и уникальное, хотя на самом деле ты — ни то и ни другое. Особенность свою ты можешь продемонстрировать разве что в сфере потребления, если у тебя есть на это средства. Ты — существо особенное, потому что потребляешь особенно дорогие продукты, не замечая, насколько те, кто делает покупки на том же уровне, что и ты, насколько они — дешевые экземпляры, стандартные продукты эволюции, которые, заведи у них кошелек, ни в чем не смогут продемонстрировать свое превосходство над тобой; внутри они подобны дому, из которого выселили всех жильцов: там лишь сквозняк гуляет, причем он не может пошевелить даже обрывки обоев, потому что жильцы, выезжая, проделали основательную работу, они даже шурупы вывинтили из стен. Ты не видишь, с какими людьми тебя свел общий уровень потребления: их незначительность скрыта от тебя товарами, которые они нагромодили вокруг себя, как ты и самого себя не видишь в таком окружении. Купленные тобою вещи замыкают тебя в некой системе координат. Требуются всего два параметра, как в физических экспериментах: где и когда, а у тебя: что и почему. Ты тревожишься за предметы, а должен был бы тревожиться за себя: ведь тебе, как и каждому, наступит конец, когда будет исчерпана сила инстинктов, сохранившихся из доисторических далей. Нет у тебя запасного плана, плана В; есть лишь то, что ты прожил. Нет страницы В, есть лишь страница, которая была перевернута, и если ты, как некоторые оркестры, считающие себя современными, лучшие номера оставил на страни-

це В, то лучше забудь о них: ту страницу уже не будет возможности прослушать ни у тебя, ни у других.

Жизнь твоя проходит в плену личных и коллективных эгоистических устремлений; в тебе не просыпается сочувствие к боли других, хотя бы ради того, чтобы в ней, в чужой боли, увидеть возможную модель собственной судьбы. Такого сочувствия для тебя не существует. Ты не жалеешь никого, кто погибает. Ты не можешь освободиться от мысли, что в смерти другого ты празднуешь то, что сам — остаешься жить. Этот день — праздник: опять кто-то умер: этот день — триумф: опять кто-то другой стал добычей энтропии. За кулисами соболезнования твой мозг устраивает радостный праздник. Ты — шулер, ты тасуешь крапленые карты, вон и глаза у тебя косят. Ты — не тот, кем показываешь себя. Ты укрылся в овечьей шкуре, хотя ты — ни овца, ни волк. Ты — не герой из сказки, которого любят, потому что он творит добрые дела, или ненавидят, за его злобную натуру. Ты — всего лишь мелкий мошенник, как и другие; ты непоправимо завистлив и недоброжелателен, ты ничего не хочешь ни для кого сделать, а если захочешь, то разве что ради того, чтобы почувствовать: ты кому-то помог.

Слава тебе, благодетель сырых и несчастных, да благословят боги, все, сколько их ни есть, каждую часть тела твоего, печень твою и сердце твое, кишки твои и желудок твой, да благословят боги каждый орган чувств твоих, коим ты воспринимал зло, и руки твои, коими ты это зло исправлял. Да воссияет лицо твое от благодарности обожающих тебя; ты обращаешь взгляд свой то на тех, кто стоит перед тобой на коленях, то на небеса, словно ты в близком родстве с благодетелем мира. Хотя — черта с два. Ты

в родстве с обезьянами, с человекообразными животными, «Книга творения» повествует не о тебе, о тебе говорят кости, найденные в пещерах, расколотые и отшлифованные каменные орудия, кости съеденных животных. Однако сейчас ты забываешь об этих предках, ты кажешься себе лучше, чем ты есть, потому что ты кому-то помог, и видишь, насколько благодарны тебе за эту помощь.

Но если ты ничего не получишь взамен, в тебе вскипит негодование: что бы ты ни делал, все впустую, и теперь тебе жалко даже изношенное тряпье, которое ты отдал службе благотворительности, ведь никто не сказал, как ты хорошо поступил и какой ты добрый. Просто взяли мешок и даже спасибо не буркнули. Ты готов самого себя оплевать с досады, что так поступил, и тебе приходит в голову, каким ты был идиотом, что отдал как раз ту рубашку или те штаны, которые сейчас ох как бы тебегодились, если ни для чего другого, так хотя бы когда будешь белить потолок в комнате. Ты ненавидишь тех нищих и бомжей, которые будут красоваться в твоей одежде, будут спать в парке в твоём пиджаке, напьются и заблюют пуловер, который когда-то ты так любил. И вообще тебе даже думать противно про эту банду бездельников: они способны испоганить скверы и парки, загадить подворотни, они садятся, пропахшие мочой и дерьмом, в общественный транспорт, на котором твои дети едут в школу. Билетов у них наверняка нет, но тут все старания контролеров бесполезны: что толку грозить полицией, если полиция для этих — разве что ночь в теплом участке да миска еды.

Когда тебе говорят, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем тебе попасть в царство небесное, ты лишь хохочешь. Наверняка это какой-

то неправильный перевод, а если нет, ты все равно предпочтешь быть верблюдом, потому что точно знаешь: на небесах — только пустота, нет там никакого царства, не живут никакие святые и ангелы, не порхают там праведные души, как и грешные души не горят ни в каком аду. Не живет там седобородый Бог, который мягко попрекает мелких грешников и с громовыми угрозами бросает в бездну негодяев, да еще и кричит работникам низших сфер, мол, на вертел этих убийц, этих обидчиков детей, этих губителей мира, этих дурных отцов и жестокосердых матерей. Да и праведников он не вводит в свой облачный дворец: не хватает еще, чтобы они околачивались там до скончания времен, когда мироздание снова начнет сбегаться и вернется к исходной точке, и множество снова станет единицей, как это было перед Большим взрывом. Нет никакой потусторонней справедливости, которая наводит порядок в беспорядке. Есть лишь одно: то, что мы здесь живем; нет ни награды, ни наказания, есть только жизни, которые издали, особенно из окон небесных чертогов, вообще не видны.

Ты точно знаешь: ты должен быть верблюдом, должен пройти огонь и воду и медные трубы; но у тебя и в мыслях нет пролезать через игольное ушко: если надо будет, ты все эти иглы растопчешь своими копытами. Если ты несчастен, это вовсе не значит, что ты готов понимать других несчастных, — разве что в той мере, в какой это в твоих интересах, потому что так ты имеешь шанс получить вспомоществование или хотя бы рассчитывать на чье-нибудь сочувствие, — тогда ты обнимешься с другими, дескать, давайте согреем друг друга, как поросята того бедняка крестьянина; а вообще-то как только ты выбьешься из нищеты, ты тут же про них забу-

дешь. Когда ты окажешься вне этого круга, ты всех, кто там остался, будешь считать бездарными, беспомощными, ни на что не пригодными, а то еще и паразитами. То есть они, эти люди, заслужили такую судьбу: ведь если ты хочешь чего-то добиться, ты знаешь, для этого нужно только работать. С другой стороны, можно ли требовать чего-то такого от тех, кто заведомо родился бездельником, — ведь ума у них достает лишь на то, чтобы всякими правдами и неправдами получать подачки и услуги, таким образом растаскивая государственные средства, которые можно было бы обратить на куда более полезные вещи.

Известно: тому, кто хочет помочь себе, и Бог помогает. Ни к чему ходить далеко: тут, перед твоим носом, твой собственный пример. Ты ведь сам сумел выбраться из несчастий, потому что работал, и видите, результат налицо, говоришь ты дома, объясняя самому себе и семье, почему тебя не интересуют бывшие сотоварищи по судьбе. Ты рассказываешь о них, о каждом по отдельности и обо всех вместе, поучительные истории: ведь сколько раз перед ними открывалась какая-нибудь великолепная возможность, но они, конечно, не пожелали ею воспользоваться, для них корчма и безделье были важнее. А ведь и тебе помог только случай, когда умерла одна твоя бездетная родственница и тебе досталась ее квартира. Это была старая тетушка в Будапеште, ты даже не знал, что она еще жива, в последний раз ты встречался с ней в детстве, а потом тебе и в голову не приходило навестить ее. Квартиру должны были получить соседи, потому что они ухаживали за ней, даже денег для нее не жалели, думали, чьему-нибудь ребенку эта квартира будет кстати. Но тетушка не

оставила завещания, об этом как-то все позабыли, она и сама не помнила, что у нее есть родня, но суд это выяснил. Соседи так и не смогли доказать свои права, и суд, следуя букве закона, присудил квартиру правомочному, по бумагам, наследнику.

Вот у тебя и появился кров над головой. И это во-все не был тот кров, про который поп говорил своей пастве: дескать, кому негде жить, тому тело Христово станет прибежищем, — но разве можно представить, чтобы тело мертвого Бога защитило, например, от плохой погоды. Церкви же на ночь запирают, чтобы туда не набились бездомные, потому что церкви существуют только для достойных верующих, которые еще в детстве регулярно принимали участие в различных обрядах, а с тех пор платят церковный налог, и если нужно, то частью урожая или деньгами способствуют процветанию общины. Церкви — это духовные офисы государственной власти, где попы морально закабаляют верующих, боящихся смерти, вживляя в них такие рецепторы повиновения, от которых невозможно избавиться на протяжении всей жизни, так что какая бы радость у тебя ни случилась, ты боишься, что на том свете тебе многократно придется расплачиваться за это.

Крыша над головой у тебя появилась, а в конце концов ты нашел и работу, что также было результатом случайности. Освободилась вакансия в структуре самоуправления, и на вакансию эту не нашлось, кроме тебя, ни одного подходящего претендента. Ты взбирался по служебной лестнице все выше, и не только для того лишь, чтобы достать папку на верхней полке. Ты очень устраивал мэра. Еще бы: сотрудник, у которого нет и не было никаких личных отношений ни с кем, да и откуда им было взяться, если ты пришел, что называется, с улицы; уже ког-

да определяли твою пригодность, это соображение стало самым весомым фактором, хотя вообще-то любой другой из отвергнутых претендентов в большей степени заслуживал эту должность. Тебя можно было вовлекать, без всякого риска, в комбинации по общественным закупкам, и ты прекрасно пользовался этой возможностью. Почему бы и нет? Ты хотел быть верблюдом, а когда наконец им стал, потому что на тебя как на подставную фигуру свалилась солидная сумма и деньги ты поместил в надежное место в зарубежном банке, — ты вступил в правозащитную организацию. Почему бы и нет?

Тебе, в твоём общественном положении, приличествует защищать права, все-таки мы живем не в такой стране, где ненавидят цыган. Да и вообще нет такого слова, «цыган», есть только — «рома», и ты делаешь все, чтобы защитить права этих, оказавшихся в неравноправном положении людей, хотя все знают, что цыган ты ненавидишь, и если ты, из-за одной некрасивой истории, происшедшей в какой-то провинциальной школе, громко осуждал сегрегацию и ненависть к цыганам, то сам-то ты никогда не записал бы своего ребенка в школу, где полкласса — цыгане. Да будь там всего один цыган, ты все равно задумаешься, не перевести ли ребенка в другое учебное заведение.

Конечно, если ты и перевел бы, то сослался бы не на цыгана, а на уровень преподавания в школе, ну и еще на то, что учительница почему-то возненавидела твоего ребенка. Она даже не обратила внимания, насколько прекрасные у него объективные данные, и баланс между поощрениями и порицаниями явно склонялся в сторону порицаний. Все это ты скажешь директору, который постарается тебя успокоить, ведь он знает, насколько ты важный человек

в структуре самоуправления, правая рука мэра, а материальное положение школы, так же как статус директора, напрямую зависят от хорошего отношения мэра, — но ты остаешься непоколебим. Ты долго ждал, чтобы что-нибудь изменилось, говоришь ты, но ничего не менялось, и теперь ты твердо решил, что не оставишь своего ребенка в этой школе.

Этим решением ты и учительницу поставил в тяжелое положение. Директор приглашает ее к себе и выговаривает ей: из-за нее школа потеряла одного ученика, к тому же не кого попало. Напрасно учительница говорит о слабых способностях мальчика, о том, что она не могла позволить, чтобы он постоянно унижал и высмеивал ту несчастную девочку-цыганку, — с этого дня вокруг учительницы складывается некоторое отчуждение, некое подозрение: что-то с ней не так, раз дети уходят из ее класса. Что с того, что она была очень хорошей учительницей, ее любили и дети, и родители, — положение ее с этого момента пошатнулось, а тут уж оживились и давно завидовавшие ей коллеги, так что в конце концов, через пару лет, ее уволили, причем именно из-за твоей ненависти к цыганам. Но, слава богу, такой школы, куда ты мог бы со спокойной душой перевести своего сынишку, в окрестностях нет; правда, есть школа, куда ходят — когда ходят — дети цыган-музыкантов, а с ними ты можешь смириться, они тебе уже вроде и не цыгане.

Ты до слез расстроган, когда смотришь документальный фильм о попавших в сиротский дом детях с несчастной судьбой, когда перед тобой проходят эффектные кадры, рассчитанные как раз на таких, как ты; но когда выяснилось, что по биологическим причинам или из-за неудачно сложившейся семейной жизни ты вышел из репродуктивного возраста

и остался бездетным — что тут поделаешь, на это тебя обрекли природа и судьба, — и ты стал подумывать, не взять ли на воспитание ребенка из приюта, — в анкете ты жирной чертой подчеркнул, что речь не может идти о ребенке цыганского происхождения. Хотя если бы тебя устроил цыганенок, ты бы давно уже воспитал ребенка, но тебе цыган не нужен, ты не хочешь, чтобы в семье у тебя был представитель чужой расы. Вместе с тем ты радуешься, когда слышишь, что американские супружеские пары охотно берут на воспитание как раз цыганских детишек; пускай берут, думаешь ты, все меньше останется здесь, а там они уж как-нибудь, среди негров, уместятся.

На словах ты осуждаешь расовые предрассудки, но в глубине души ты убежден, что цыгане генетически закодированы на девиантное поведение. Такими они остаются и много лет спустя; они явно предназначены для того, чтобы паразитировать на обществе, в этом смысл их жизни. Ты вспоминаешь, кто-то привел похожий пример из животного мира, он закончил биологический факультет, — так вот, он сказал, что существуют такие животные и, кажется, даже растения. Ты этому очень удивился, потому что растения-то ты до сих пор считал совершенно безвредными.

Никогда ты не смог бы жить в таком месте, где соседнюю квартиру занимают цыгане. Ты скажешь, проблема вовсе не в Лайоше или в Кальмане, на чье имя записана квартира, а в многочисленной родне, которая так и роится вокруг. Иной раз человек двадцать живут на этих сорока трех квадратных метрах, и, конечно, все, с первого до последнего, уголовники. Если, бывает, квартира вдруг опустеет, то потому только, что полиция всех, от первого до по-

следнего, забрала и упрятала за решетку. Наверняка скоро они опять окажутся на свободе, потому что законы у нас — идиотские, изолируют таких на каких-нибудь пару лет, да и то потом половину скостят за хорошее поведение, так что эти защитники правопорядка, в сущности, снова натравливают негодяев на общество, только уже на более высоком уровне преступной квалификации, потому что тюрьма у нас — это не учреждение, где наказывают, ничего подобного, тюрьма — это учреждение для повышения квалификации преступников и для укрепления связей между ними.

Нет, ты ни на минуту не согласился бы жить с такими соседями; правда, этого тебе можно не бояться: именно по этой причине ты поселился, за огромные деньги, в зеленой зоне, чтобы в твое окружение даже случайно не попал какой-нибудь рома. В этом районе уже цена за квадратный метр жилплощади исключает появление цыган, в отличие от других, более бедных районов города. Собственно говоря, благодаря ценам на квартиры и появилась та свободная от цыган зона, о которой мечтают жители деревень со смешанным населением в Ниршеге* и, конечно, члены разных расистских организаций, хотя мечты эти ты, ссылаясь на права человека и на то, что люди рождаются свободными и равноправными, глубоко презираешь.

Однако от ребенка своего, который снюхался бы с цыганом или цыганкой, ты, не раздумывая, отрекся бы. Ты даже не согласился бы познакомиться с ним или с ней, потому что уже мысль об этом, мысль о том, что на воскресном обеде за твоим столом будет сидеть цыган или цыганка, вызывает

* Область на северо-востоке Венгрии.

у тебя глубочайшее неприятие. Как выглядел бы прибор на столе, если бы за ним сидел цыган! Ты скорее готов пойти на то, что ребенок этот будет для тебя потерян, или, из-за твоего родительского произвола, проживет жизнь один, — все лучше, чем если у тебя появятся внуки цыгане.

Хватит, достаточно ты жил внизу, говоришь ты дома, сейчас твое место — наверху, и ты поддерживаешь принятые правительством меры, которые делают полностью невозможной жизнь твоих прежних родственников, которые остались внизу. Никогда из них ничего не выйдет, где они родились, там и умрут. И произойдет это скоро, долго ждать не придется, потому что пьют они дрянной алкоголь и едят что попало, а если этого недостаточно, то есть еще и соответствующее медицинское обслуживание, врачи ведь тоже чувствуют, что ради этих людей лезть из кожи совсем необязательно. Каждый от чего-то умирает, так чего бы им не умереть сейчас, например, от той конкретной болезни, которой они как раз болеют.

Ты поддерживаешь эти меры, направленные на то, чтобы те, кто и так живет плохо, жили еще хуже, чтобы система образования была такой, в которой перекрыты все каналы подъема. Бросьте, зачем людям второго сорта становиться людьми первого сорта. Если они не останутся внизу, то кто их там заменит? Они должны там оставаться, потому что они такими родились. Проще оставить все как есть, чем вечно трудиться над тем, чтобы из нищего сделать принца и наоборот. Жизнь — не книга сказок, в которой случаются всякие чудеса. И вообще, ни к чему тратить на это слова, тебя это все равно не интересует, твои дети учатся за границей и гарантирован-

но получают такое образование, с которым, если бы даже захотели, не смогли бы скатиться на уровень неудачников.

Что касается этой страны — некоей незначительной европейской страны, нет смысла даже ее называть, короче, одной из тех стран, жители которых, несмотря на крохотную территорию, считают, что их культура, национальные традиции, а также необыкновенные достижения и в духовной, и в материальной сфере поднимают эти страны на уровень величайших государств мира или даже и того выше. Так вот, будущие правители этой незначительной страны получают образование в лучших университетах мира и возвращаются в свою страну с такими знаниями, а тем более с таким самосознанием, что без всяких проблем смогут занять предназначенные им руководящие посты. Граждане же этой страны, получившие обычное образование, не могут даже соревноваться с ними, они заведомо обречены на поражение, и нечего тут вспоминать историю с Давидом и Голиафом! Тем более что какая-то часть этой истории — наверняка чистая выдумка: или Давид не был таким уж мелким, или Голиаф не был таким великаном, а уж легенда насчет пращи — совсем бред, простая сказка, которую древние грамотеи вставили в Библию, чтобы поддерживать в неудачниках иллюзию, будто судьба их может измениться, просто надо научиться правильно обращаться с пращей.

Вроде с желудком полегче. Удалось-таки выплюнуть изо рта эту горечь. Здесь, в подземном гараже, воздух слишком затхлый и всегда не проветрено. Что с того, что вентиляция работает и вентиляторы стоят огромные, никакого с этих вентиляторов толку, или просто их недостаточно, потому что застрой-

щик наверняка сэкономил несколько штук, чтобы закрыть эту инвестицию с большей прибылью. Выхлопных газов от машин столько, что едва можно дышать. Выхлопы заглушают все прочие запахи, не помогают ни духи, ни дорогие дезодоранты, человеческого запаха тут вообще не чувствуется: ни запаха старости, ни молодости, ни ухоженности, ни запущенности, — только запах машин. От этого и тошнота каждое утро. И тошнота эта вполне гармонирует с тем, что меня окружает. С тем, что окружает внизу, в гараже, и снаружи, когда кончается дежурство и я наконец выхожу наверх. Потому что мир этот — непоправимо скверный и безнадежный, такой скверный и безнадежный, какой только можно представить. И все равно не желает он распасться, разрушиться: скверный он как раз в такой мере, чтобы оставаться в целости. А если он станет еще хуже и та последняя, необходимая для работы всего механизма деталь готова будет вывалиться из него, то кто-нибудь придет и все починит — как чинит в каждом случае. Там, где нужно, подштопает, там, где нужно, приварит, и пожалуйста, самое скверное, но необходимое для работы состояние обеспечено. Правда, удаваться это будет уже недолго, когда-нибудь все кончается, нет нужды ждать миллиарды лет, чтобы расширение, разбегание прекратилось и материя устремилась назад, к первоначальной точке. Мир закончится не так, как считают провозвестники конца света: и печати не будут взломаны, и всадники Апокалипсиса не прискачут, и гигантского взрыва не произойдет, — все ограничится только убогими маленькими взрывами, в которых потонет жалкий скулеж.

Скоро, скоро наступит конец, и тщетно станете вы забиваться во дворцы ваши, и тщетно будете строить башни из денежных пачек — в какой-то мо-

мент башни рухнут, и рассыплются стены Иерихона, и все, что построили вы, падет, принесенное в жертву новой воле, воле, которая уже перешагнула ваши пороги, но вы не видите ее, ибо вы слепы и самонадеянны, и живете, ослепленные восторгом, который испытываете от самих себя. Вот так же патриции, жившие в чудом сохранившихся городах Древнего Рима, не заметили, что империя давным-давно уже находится во власти вестготов, лангобардов, гепидов, кельтов и германцев, всех тех племен, которые они считали ничтожными и варварскими. Они смеялись над темными, неотесанными кочевниками, и так, с трясущейся от смеха и раздувающейся от высокомерия грудью, и погибли, были стерты с лица земли.

Ты думаешь, что добрая воля порождает добрые дела, а злая воля — злые дела, хотя это совсем не так: из добра точно так же может родиться зло, как из зла — добро, никакой гарантии, что случится то или это. Как не знаем мы, сколько человек считают злом, сколько человек видят вред в том, что мы считаем добром. Происходит то, что происходит, оно ни такое, ни этакое, оно — всего лишь продукт конкретной жизненной воли. Ослабевшая жизненная воля постоянно оказывается в проигрыше, как в проигрыше оказываются те люди, которые из страха, из трусости или по причине вколотенных в них в детстве угрызений совести не смеют ничего изменить в своей жизни. В проигрыше будешь и ты. Ты ничего не менял и сам не менялся. Ты станешь жертвой жизненной воли третьего мира, над твоей могилой внуки, чей разум помутнен алкоголем и веществами, синтезированными химическим путем, не станут опрокидывать и разбивать вазы, потому что не будет у тебя внуков, тот вид, к которому ты принад-

лежишь, вымрет полностью, и кости твои через тысячу лет будут изучать мусульманские археологи, как нынче археологи раскапывают аварские кладбища, и сколько бы ни было найдено останков, они, эти археологи, все-таки не могут избавиться от подозрения, что аваров, собственно говоря, пожалуй, и вовсе не существовало.

Скука, скука, скука. Ничто не меняется, ничто не происходит; только если болит что-то, ты чувствуешь, что ты есть. Утром встаешь, делаешь то, что делаешь каждое утро. Приходит следующий час, это уже первая половина дня, ты делаешь то, что должен делать до обеда, подобным же образом действуешь после полудня и вечером. Свободная воля — пыль в глаза, крапленая карта власти. Ты думаешь, от тебя что-то зависит? Ты придешь к пониманию, что — ничего, и, когда наконец твои годы закончатся, ты скажешь лишь: словно ничего и не было, совсем ничего. Будешь сидеть и смотреть в пространство, и думать, насколько же все ничего не стоит, все пролетело, упорхнуло, бывшие ценности сыплются через твоё сознание, как зерна пшеницы сквозь решето, и, пока ты ждешь, чтобы просыпались и последние твои минуты, все потеряет свой смысл, реальность — только боль, только безумная резь, живущая у тебя в желудке, и даже морфий не может ее заглушить.

Не начинай ты опять с этим добром и злом, тебе это не идет, я по ушам твоим вижу, ты сам знаешь, что лжешь. Добра и зла нет так же, как нет в жизни причинно-следственных связей, все это — лишь человеческая конструкция, чтобы нам было о чем думать, но то, что есть, не может служить причиной того, что происходит, оно лишь означает возмож-

ность, а потому нечто противоположное или нечто совсем другое может произойти точно так же, как то, что в конечном счете произошло. Тому единственно несомненному факту, что каждая возможная история сомнительна, что сомнительно уже то, что она произойдет, — доказательство дает лишь квантовая механика; одержимые исследователи внутреннего строения атомов посмели сказать: верно то, относительно чего мы хотели, чтобы оно не было верно.

Не пытайся верить, что в твоей жизни есть какая-то цель; цели нет ни в чьей жизни. Любая цель — уловка разума, призванная отвлечь внимание от того невыносимого факта, что мы существуем лишь ради того, чтобы протекло время. Чтобы заставить забыть свое, с годами все более скверное, отношение ко времени.

Вот почему мы считаем свое детство таким безоблачно радостным, и не важно, каким оно было на самом деле: с кошмарными родителями, с приемными родителями, с тысячью обид, которые определяют и сегодняшнюю твою жизнь. Что был отец, которого пришлось ударить в спину хлебным ножом, потому что невыносимо было видеть, как он избивает мать, и закончилось это тюрьмой, по крайней мере, на короткое время, пока суд не вынес оправдательный приговор, приняв во внимание, что отец не умер, сын же в тот момент был не в состоянии себя контролировать. Ну и что, что детство было омрачено этим ужасным событием, оно все равно видится безоблачным, потому лишь, что у нас понятия не было о времени. Мы думали, жизнь будет продолжаться вечно, а если кому-то случалось все-таки умереть, из ближней или пускай дальней родни, это наверняка был один из стариков, который вполне заслужил, чтобы его жизни пришел конец.

Да нет никаких целей, мы бесцельно делаем то, что возложила на нас судьба, ищем лазейки из удушающих тисков времени. Не начинай мне опять, мол, те моменты, которые... Те моменты тоже не были иными, ты лишь переживал приятное физическое ощущение. Ничто не давило в желудке, ты чувствовал себя отдохнувшим, не хотелось ни пить, ни есть, и тогда ты отправился куда-то прекрасным солнечным утром и чувствовал, что в тебе вдруг исчезает всякое напряжение, что ты, пускай на короткое время, но стал един с окружающим миром. Хотя не произошло ничего такого, что доказывало бы необычность этого момента. Речь шла лишь о том, что твоя биологическая система действовала оптимально.

Скука. Какое-то время ты обо всем думаешь, что это важно, что важно то, что ты есть, что мир без тебя был бы неполным, что если бы тебя не было там, где ты есть, то в мироздании зияла бы дыра. Дыра, через которую можно заглянуть в пустоту. Но — нет. Если ты исчезнешь, на ткани мироздания не останется даже намек на нехватку чего-либо. Все будет точно таким же, каким было, когда ты еще был, — лишь тебя уже не будет. Если бы после смерти у тебя сохранялось сознание, ты бы сожалел, насколько же то, что ты был, ничего не значит; но от тебя не останется никаких мыслей и ощущений, только безжизненное тело. Потом — прах и пепел. И если даже тебе поставят памятник, если останутся толстые альбомы с фотографиями и огромные статуи, в тех фотографиях и статуях не будет даже крошки из того, что было твоей жизнью. Какое-то время ты можешь верить: если ты что-то делаешь, то действие, производимое тобой, что-то изменит хотя бы в том крохотном пространстве, где ты существуешь;

но оно, это действие, ничего не изменит, потому что в принципе измениться не может ничто. Культурная мода, как и мода в одежде, технические и технологические новшества, которые поражают своей всегдашней необычностью, — как раз и служат доказательствами неизменности, ведь стоящий за ними человек точно таков же, как те люди, которые жили раньше. Мы не счастливее, чем люди прежних эпох, мы только немного чище и упитаннее, а жизнь, которая стала немного длиннее из-за благоприятных условий, делает еще более невыносимым доставшееся тебе генетическое несчастье.

Нет никакой иной системы, ты тоже — часть этой системы, ты тоже — аксессуар неизменности. Любая попытка подняться над системой заканчивается крахом, ведь ты неспособен выбраться из замкнутости своего мирозерцания. Конечно, ты не осмеливаешься признать фиаско. До конца жизни ты упрямо цепляешься за нравственные принципы, о которых думаешь, что они — яркие звезды человеческого бытия, осязаемые доказательства свободной воли, которые отличают тебя от животного мира. Изгнание из рая было не что иное, как обнаружение этих путеводных звезд в глубине твоего сердца, дескать, там потому и зашла речь о грехе, что человек именно тогда осознал: есть нечто, что называют грехом, и есть правильные поступки; хотя, конечно, мифический Адам не понял ничего, кроме одного: что он подвержен бренности и что куда лучше было бы оставаться в незнании, как прочие твари с их бессмысленным взглядом.

Если ты полагаешь, что осознание греха стало началом превращения в человека, то ты идешь по ложному пути, как если бы ты считал, будто причиной этого превращения был момент, когда Ева выпрямилась и палкой сбила яблоко с дерева, которое,

собственно говоря, вовсе и не было ее деревом. И будто это использование орудия и эта кража и направили человечество по известному, по сей день продолжающемуся пути.

Ты веришь в нравственные принципы и держишься за них до последнего, потому что упорно надеешься, что когда-нибудь удостоишься за это награды. Ты презираешь и считаешь сбившимися на ложный путь тех, кто выбрал другую жизнь, если это не муравей, который слуга по инстинкту, а сверчок, для которого будущее ничего не значит, который махнул рукой на свой брак, — ну и что из этого стало: новый брак и новое фиаско. Какое-то время он, сверчок, верил, что это любовь, а что мы имеем сейчас: он заживо разрушается в том, другом браке. Вот ты: ты остался в старой семье, рядом с женщиной, которая точно такая же, как твоя мать, она никогда не погладит тебя, лишь случайно ее рука коснется тебя, может быть, раз в жизни. Ты лежал тяжело больной, менингит, он был осложнением после какой-то другой болезни, ты лежал на больничной койке, твоя жизнь была на грани, на острие ножа, и тогда мать пустили в карантинный блок, чтобы она погладила тебя, но ты даже не мог обрадоваться ей, настолько болела голова, а прикосновение ее руки перенесло эту боль из головы в сердце. Если бы ты мог говорить, ты бы сказал: почему сейчас, почему только сейчас мать показывает, что любит тебя, почему не показывала до сих пор, и ты столько раз говорил ей это, тебе недостаточно только знать, тебе нужно, чтобы был знак...

Опасно все, что содержит вопрос, как ты живешь; опасно все, в чем слышится хотя бы попытка узнать, что существует мир и если существует, то почему. Ты знаешь: все, что опасно, нужно ликвидировать.

Изгнать из семьи, изгнать из страны, изгнать с континента, истребить во всем мире. Истребление, пускай оно связано с кровопролитием и разрушением, европейские нации встречают бурной овацией, причем в равной степени консерваторы и либералы, в этом отношении дудят в одну дуду даже закоренелые враги: скажем, фламандцы и валлоны, испанцы, баски, каталонцы, ирландцы и англичане, евреи и антисемиты. Утопающие в механизированном кровопролитии солдаты испытывают небесное блаженство; конечно, не те, кто защищает третий мир. Те — ничего не стоят. Жителей третьего мира и ста тысяч мало, чтобы о них заговорила мировая пресса. Часто цунами или гигантского по силе землетрясения где-нибудь в Азии или Африке недостаточно, чтобы сейсмографы телеканалов мира хоть чуточку дрогнули, — разве что если в опасности окажется жизнь нескольких забредших туда европейских или американских лоботрясов, а уж тем более если они погибнут.

Мусульмане опасны; бесполезно даже просить у них за столом, покрытым белой скатертью, мол, дорогие мусульмане, не будьте вы уже такими опасными, — они ничего не желают слушать. Конечно, мусульмане не потому опасны, что держат руку на нефтяном кране и открывают или закрывают его по своей прихоти, и не потому опасны, что, не жалея собственной жизни, постоянно держат в паническом страхе нашего брата, не давая забыть, что в любой момент ты можешь стать жертвой какого-нибудь оставленного в сторонке чемодана, набитого огромной силы взрывчатым веществом, и не потому опасны, что деньги налогоплательщиков, вместо того чтобы направить их на повышение нашего благополучия, приходится тратить на поиски средств и создание организаций по борьбе с терро-

ром. Конечно, теракты все равно происходят: эти ребята из Малой Азии или из Северной Африки настолько коварны, что могут обвести вокруг пальца даже самые современные защитные системы, этому они учатся с детства, это написано у них в Коране. За религиозными догматами прячутся хитрые технические устройства, термоядерные рецепты — правда, этого никто не может оттуда вычитать, только они.

Но опасны они не поэтому. Мусульмане опасны потому, что ставят под вопрос твое господствующее положение в мире, ставят под вопрос жизнь, которой ты живешь. Они ставят под вопрос комфорт: полагается ли он тебе; ставят под вопрос твое состояние: какой ценой ты его скопил; ставят под вопрос твою веру: где в ней Бог? Ты боишься не той священной войны, в которой гремит оружие, не террористов-самоубийц, не террористов, угоняющих самолеты, взрывающих поезда и вагоны метро, — ты боишься той священной войны, которая ставит под вопрос твою жизнь: правомерна ли она? Ты боишься, что тебя спросят: твой джихад победил ли в тебе животное? Но ты не дашь им высказаться, ты их уничтожишь, говоришь ты и говорят твои руководители, вновь и вновь посылая армии для покорения этих территорий и для насаждения там справедливого государственного устройства, потому что они — опасны.

Ты считаешь, что положишь этому конец; так считают президенты, так считают и военачальники твоей армии. Ты считаешь, что в твоих силах остановить поток коварных, раздражающих тебя вопросов, что ты способен запретить им лезть со своими рожами в наши двери и окна, хотя ты уже давно не в том положении, когда можешь им запретить хоть что-то. Твой распушенный мир может кое-как сплю-

таться разве что для борьбы за окружающую среду или за гуманное отношение к животным. Ты готов даже в конституцию внести личные права животных, ты создаешь движение за спасение беспризорных собак в Румынии или на Украине, но ты понятия не имеешь, что можно поделаться с той тайной армией, что выстроилась за бастионами морально-го превосходства, армией, которая, благодаря естественному приросту населения, постоянно увеличивает свою численность, в то время как ты приходишь в упадок даже биологически.

Ты настроен на долгую жизнь, однако отказываешься даже от продолжения — в детях — самого себя, отказываешься, ради комфорта, от самого первого закона бытия. Сократившееся население конечно же неспособно обеспечить тебе пенсию на несколько десятков лет, чтобы ты, полный энергии и любознательности, ездил, до начала и после окончания сезона, по всему миру и покупал самые современные средства для ухода за телом. Нет, твоих детей для этого уже мало, и потому ты вынужден вовлекать в производство солдат противника. Ты даешь им работу — и раздражаешься, видя, что они вовсе не благодарны, получив возможность чистить после тебя унитазы, мыть посуду и убирать квартиру, офис и улицу. Ты досадуешь, что второе поколение уже совсем непохоже на героев сказок «Тысячи и одной ночи». Они требуют своего, больше, чем, как ты считаешь, они заслужили. Ты — пленник собственной системы. Ты нанимаешь людей присматривать за собой, чтобы избежать любой опасности для жизни и здоровья, ты запираешь себя в клетку, чтобы уберечься от собственной безалаберности, а на самом деле — от всего, что и есть в общем-то жизнь.

Ты не спрашиваешь, что это за ядро у тебя на ногах, почему следят за каждым твоим шагом, когда ты ликвидировал границы между странами и уничтожил карантин человеческих отношений. Правильно, и не спрашивай. Не спрашивай, растворись в беспорядочном, оглушительном шуме торговых павильонов — и потребляй. Здесь, над подземным гаражом, тоже есть такой торговый центр. Зачем расспрашивать, если можно делать и другое, достаточно мы спрашивали, когда желудок у нас был пуст, в Средневековье, да и после, неведомо сколько столетий. Теперь ты можешь есть, когда хочешь, еды сколько угодно, поля и фермы заваливают нас съестным. Ты производишь продукцию самыми современными методами, по любой цене и как можно больше, а причина: половина мира голодает. Излишки — ну, не из альтруизма, а лишь для того, чтобы с рыночных прилавков исчезли лишние продукты, чтобы, не дай бог, накопившийся товар не сбил цены, — ты отсылаешь как гуманитарную помощь в Африку, пускай бесчисленные голодранцы поедят, ты будешь спокойнее спать, если знаешь, что они не так уж сильно голодают. Организации, ведающие гуманитарной помощью, распределяют еду и делают прививки тем, кому это нужно. Правда, прививки — это бизнес мультинациональных фармацевтических фирм, они спасают обреченных на смерть младенцев, чтобы те через несколько лет с вздувшимися животами умирали под палящим солнцем, тащась вместе с матерью по саванне, словно дикие животные, из одного пункта распределения гуманитарной помощи в другой. Или становились малолетними солдатами в армии местного царька, и в десять с чем-нибудь лет их перебили где-нибудь в джунглях.

Не спрашивай! В этом гвалте спрашивать все равно бесполезно. Если ты раскроешь рот, рвущаяся из

репродукторов музыка не то что голос твой — даже воздух из глотки не выпустит. Шагай на первом, втором, третьем уровне с другими твоими товарищами по судьбе, затем, с набитыми товаром сумками, — в самую глубь, на дно. Радуйся, что мы живем в таком дешевом мире, где вещи не имеют ценности, покупай, сколько влезет; если у тебя нет денег, то там для тебя — дешевые синтетические поделки. Не спрашивай, почему они продаются за бесценок, с какими поставщиками находятся в договорных отношениях современные супермаркеты, за сколько долларов в неделю ткут ковры женщины и дети в Пакистане, в Непале. Это прекрасные, дешевые страны, такие бедные, что у них даже преступности нет, такие угнетенные, что люди там даже воровать не решаются, скорее готовы подохнуть с голоду: ведь за товар, произведенный для Запада, они получают деньги, которых достаточно лишь для голодной смерти.

Ничего не спрашивай, прими к сведению, что они живут на горсть риса, что у них нет сил в соседнюю деревню пойти, на свадьбу или похороны родственника, что они живут в страхе перед местными богатеями, хозяевами мастерских: те, если заметят брак в их работе, вышвырнут их, и у них даже и горсточка риса не будет, а продать им нечего. Детей своих они еще за годы до этого продали задешево в какую-нибудь шахту, где в узких штольнях могут протиснуться только крохотные тела.

Приезжай со своей машиной, подземный гараж строился для тебя, так что приезжай, тебе положено! Ты знаешь, что своей судьбой ты обязан энергии и находчивости предков, которые утвердили господство западного мира на всей планете. Твои родичи разработали самые современные методы грабежа

третьего мира; конечно, сам-то ты можешь со спокойной совестью умыть руки: ведь людям вовсе не обязательно выполнять работу за нищенскую плату. Они сами так решили, это был их собственный выбор. Нет в мире никакой предопределенности. Ты не желаешь всерьез относиться к причинам, по которым все сложилось так, а не иначе; ты говоришь, что весь набор причин все равно никто не может учесть, так с какой стати тебе верить тем причинам, которые как раз на виду: ведь выбор их определяется не объективными критериями, а субъективной и, значит, уязвимой позицией наблюдателя.

Приезжай, место для тебя приготовлено. Я знаю, куда ты встанешь. Я вижу тебя насквозь. Путь ведет по крутым виражам, визжат покрышки, разметку в коридорах только что освежили. Этот подземный гараж мог бы служить символом твоей жизни, но я ненавижу все эти символы, гимны, национальные флаги, священные короны, жезлы и прочее, все, что пробуждает фальшивые чувства и согревает верящее в них население теплом общего хлева, — хотя каждый живет в одиночестве, в неизбывном, неоправимом одиночестве.

Подземный гараж мог бы служить символом твоей жизни, потому что ты находишься на самом глубинном уровне бытия. Что из того, что ты живешь в зеленой зоне, в залитых солнцем домах: солнце светит тебе лишь по привычке. Если бы оно могло делать различие между людьми, ты жил бы в темноте, при свете лампы, как живешь в глубине гаража. Это — твоя жизнь, за тобой постоянно наблюдают телевизионные камеры. Машину отсюда угнать легко, потому что сторожам плевать на камеры, им надоело все и вся, иной раз они крякнут и ухмыльнутся, увидев какую-нибудь женщину, но

чаще всего ни на что не смотрят, разве что на часы: когда уже пройдет время, которое должно пройти. Но воры сюда не приходят, они знают, что записи с камер можно прокрутить назад. Жизнь каждого человека умножается в копиях, которые можно с тебя изготовить, — но в общем-то все напрасно. Напрасно ты собираешь воспоминания о каждом своем мгновении: то мгновение было лишь тогда, когда было, и, несмотря на фотографии и видеоролики, давно уже принадлежит бренности. Доверив свою жизнь техническому копированию, ты уничтожил в себе память. Ты помнишь разве что о том, что хранят камеры, ты понятия не имеешь, что произошло до того или пускай после того.

Ты помнишь, какими веселыми были мы тогда, говоришь ты, держа в руке какую-нибудь старую фотографию, и не можешь понять, почему ваша судьба оказалась в кризисе после стольких счастливых дней. Ты забыл, что, устанавливая аппарат на съемку, ты поменял черты своего лица и на нем уже не видно тех бесчисленных страданий, которые вы причиняли друг другу в предшествующие часы и минуты.

Нет, никто сюда не придет, только те, кто ставит сюда на парковку свои дорогие машины. Только ты приходишь сюда и прочие, которые точно такие же, как ты; конечно, ты думаешь: да брось, моя жизнь — особенная, ведь живу ею именно я. Но ты ошибаешься, ошибаешься и в этом, как и во всем другом. Отсюда, из этих стандартных боксов, ты вовсе не выглядишь особенным, ты точно такой же, как все. Ты — совсем не единственный. Ты — это все.

Ты не знаешь, кто я, и напрасно показываешь пальцем, ты не знаешь, где я. Ты ни о ком не знаешь, кто он такой, как не знаешь и о себе, кто ты есть. Беспо-

лезны самые современные психологические методы, курсы самопознания, микстуры и таблетки, улучшающие самочувствие, — дома ты только орешь, сейчас вот — на детей, а вообще на любого, кто попадется под руку, или угрюмо молчишь целыми днями, и все вокруг ждут в страхе: если ты вдруг заговоришь, то что скажешь, какое слово или фразу произнесешь и как громко. Ты ничего о себе не знаешь, вся твоя жизнь строится так, чтобы ты не попал туда, где находится ядро твоего бытия, потому что тебе страшно: вдруг окажется, что там нет ничего. И в самом деле, там — ничего, только инстинкты, ничего больше. А вокруг инстинктов — оборонительные укрепления, массивные стены, гигантские башни. Вот тут есть все: и гимн любви к ближнему, и технический прогресс, тут и семья как святыня, и родина как общий дом для всех, кто такой же, как ты, и частная собственность. Есть тут праведники, герои прошлого, полководцы, изобретатели, отыщутся и какие-нибудь мыслители с несчастной судьбой, которые дали тебе надежный рецепт, каким образом не добраться до ядра твоего бытия. Разработчики скорлупы ядра. Все они, разработчики скорлупы, все они тут, в тебе, а скорлупа эта — из такого прочного материала, что его не взорвать и самыми мощными адскими машинами. Ничего не могут с ним поделывать ни хитроумные арабы, ни любые другие террористы с ядерными зарядами, контрабандой привезенными с Украины. На протяжении тысячелетий трудолюбивые руки без отдыха возводили эту цитадель, которая оберегает тебя от жизни как минимум на одну жизнь.

Ты не знаешь, кто я. Я — не тот, у кого вчера умерла мать, я не тот, кто убил свою мать и расчленил

ее, а сердце бросил собакам. Матери у меня нет уже много лет. Я вычеркнул ее из своей жизни еще тогда, когда она настояла, чтобы квартира, в которой я жил, была записана на нее — чтобы быть уверенной в ее сохранности: как-никак она куплена на родительское наследство. Но я порвал с ней и освободился от нее на всю жизнь, чтобы она не пользовалась правом владения ни мной, ни моей квартирой. Нет, я не хотел, чтобы она вцепилась в меня: она ведь для того и хотела быть вписанной в договор, чтобы никогда не отпускать меня на волю, руки ее были словно багор, руки-багор, и я чувствовал, как холодное железо впивается в мою шею. Какое уж тут — погладит.

Нет, с матерью я уже много лет назад как расстался; если она умерла, я не был на ее похоронах, если еще жива, не пойду, когда умрет. Отца же у меня бог знает сколько времени нет, я уж едва помню, был ли он. После того случая, о котором я не рассказываю, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь еще знал об этом, а для меня это уже ничего не значит, я, считай, о нем забыл. Помню только, что тот случай не помню. После того случая он попал в госпиталь, военный госпиталь, потому что был военным, и там ему рану в конце концов залечили. Из госпиталя он домой уже не вернулся, поселился где-то в другом месте, я так и не узнал где.

Но если бы он не исчез из семьи так рано, все равно бы его уже не было в живых, у мужчин это обычное дело. И напрасно феминистки причитают, что общество, где верховодят мужчины, угнетает их и вообще. Достаточно посмотреть статистику, чтобы стало ясно: все как раз наоборот. Средний возраст женщин далеко превосходит средний возраст мужчин. Если бы феминистки в самом деле победи-

ли, они утратили бы это преимущество, лишились бы возможности много лет наконец жить свободно, избавившись от мужей. Конечно, они ходили бы развлекаться во всякие злачные места, куда с мужем давно не ходили, поскольку мужу на все это сто раз наплевать. В печенках у него уже все эти культурные программы и способы проведения свободного времени, всякие встречи с друзьями, куда старые друзья приводят старых женщин, таких же, как твоя жена, а если случайно мелькнет какая-нибудь молодая цыпочка, к ней все мужики так и липнут, но ледяные взгляды и шипение старых жен в конце концов заставляют ее исчезнуть, и остаются все те же, физически и духовно изношенные женщины, ради которых уж точно нет смысла из кожи лезть. Выглядеть веселыми, остроумными, пускай даже умными — рядом с ними совершенно бесполезно, ведь у них и запах какой-то неприятный. Стоит наклониться поближе, и сразу ударит в нос этот запах старости, который смешивается с запахом дорожных духов.

Но в конце концов ты умрешь, и женщина тогда сможет ходить туда, куда за десятилетия брака у тебя идти с надоевшей женой не было никакой охоты: стыдно было с ней показаться на людях. Ты считал, что выглядишь не такой уж развалиной, а она... Ты считал, не подходите вы друг другу, ljubому бросится в глаза разница в вашей внешности, и именно потому тебе бы еще полагался от жизни кое-какой бонус, хотя на самом деле ничего тебе не полагалось. Напрасно старался ты возмещать деньгами и жизненным опытом то, чего не хватало тебе как мужчине, — все равно ты никому не был нужен. От тебя тоже пахло старостью, и это сразу выдавало тебя; запах шел от твоей одежды, и не помогали

современные стиральные машины, от этого запаха невозможно избавиться, он пропитывает собой все, и, когда ты наклоняешься к молодой женщине, чтобы с дерзкой ухмылкой попытаться ее покорить, ты слышишь лишь: идите отсюда, слышите, идите! И ты отходишь в сторону, как побитый, и по твоей походке чувствуется, какой у тебя позвоночник и какие колени, и уходишь ты в никуда, к смерти. А если все-таки встретится тебе на ярмарке человеческих отношений борющаяся с трудностями, не старая еще женщина, то, вслед за некоторым кратким периодом, когда твое представление о самом себе неожиданно меняется в лучшую сторону, когда ты вдруг обнаруживаешь, что продавцы в супермаркете и кассирша в кинотеатре обращаются к тебе на «ты», — вслед за этим кратким проблеском бабьего лета твое представление о себе быстро и необратимо рушится, и рядом с молодой женщиной ты очень скоро начинаешь опять чувствовать, что ты — стар, непоправимо стар. Старые у тебя мысли, старые у тебя воспоминания, в них, в этих воспоминаниях, брезжат времена, когда эта женщина еще и не родилась, значительная часть твоей жизни для нее — будто какой-нибудь исторический роман, «Звезды Эгера» или «Сыновья человека с каменным сердцем»*, романы эти она в свое время читала или, по крайней мере, листала, потому что они входили в список обязательной литературы для чтения.

Ты — далекое прошлое с его неправдоподобными историями, черно-белыми фильмами, забытыми звездами старых кинокартин, дешевым хлебом и пивом. Старая у тебя кожа, руки — сплошь в мор-

* «Звезды Эгера» — роман Г. Гардони. «Сыновья человека с каменным сердцем» — роман М. Йокаи. Обе книги посвящены описанию героических страниц венгерской истории.

щинах, рядом с молодой женщиной ты переживаешь как раз противоположное тому, что переживал рядом с другой женщиной. Ты плачешься, вечно жалуешься, предсказываешь для вас обоих мрачное будущее, когда ты станешь ожидающим смерти инвалидом с палкой, а женщина рядом с тобой будет блистать своей молодостью. Ты будешь рисовать мрачные картины до тех пор, пока женщина эта, которой и без того хватает в жизни проблем, не плюнет и не пошлет тебя подальше, не в силах больше выносить твое нытье и выслушивать рассуждения, есть ли у тебя шанс прожить еще какое-то время. И ты уберешься от нее туда же, куда убрался от женщины, твоей ровесницы.

И тогда, может быть, у тебя появится еще одна мысль, еще один вопрос: а что, дети, которых ты оставил в предыдущей семье и с которыми у тебя так и не нашлось времени наладить отношения, — придут они на твои похороны? Ты уже не сможешь убедиться лично: нет, не придут. Они на всю жизнь разочаровались в тебе как в отце, они сердиты на тебя, потому что ты отравил жизнь их матери и испортил им детство.

Ты не знаешь, кто я, и напрасно тычешь пальцем: ты не видишь, где я. Я не страж твоей души, я не ангел-хранитель, который направит тебя к правильной жизни, потому что правильной жизни — нет. Правильную жизнь придумали те, у кого все, что они ни делают, получается просто ужасно, вот они и придумали правильную жизнь, чтобы найти причину и оправдание для своей незадавшейся судьбы; или придумали те, кому все удавалось, для тех, кому, напротив, ничего. Дескать, жизнь твоя никуда не годится, ты ночуешь где-нибудь на лестничной клетке

или на скамейке в скверике, но у тебя все-таки есть возможность начать правильную жизнь, ты избавлен от бремени материи, у тебя теперь ничего больше нет, ты свободен.

Я свободен, говоришь ты, когда лишишься всего своего состояния или, скорее, когда тебя лишат его, вышвырнув из квартиры, причем даже не жена — на жену можно, по крайней мере, злиться потом всю жизнь, мол, шлюха она последняя, — а какой-нибудь банк, которому ты не смог выплачивать кредит, да и как ты, собственно, мог его выплачивать, если сумма была больше, чем все, что ты получаешь за работу. Ты стал свободным, у тебя ничего не осталось, потому что получилось как-то так, что квартира твоя утратила всякую ценность, под нее даже кредит невозможно было попросить. Или потому лишь, что банк пустил твои деньги по ветру, им ведь на тебя сто раз наплевать, не об их жизни речь, а квартира эта в самом деле не была уж такой дорогой. В общем, ее продали, а тебе сказали, ты все еще должен миллион или сколько там, но, конечно, если ты станешь работать, то когда-нибудь этот долг погасишь. Так что ты предпочел не работать.

Ты свободен, говоришь ты, потому что освободился от бремени собственности, потому что материальное не висит у тебя на шее, хотя — черта с два. Лишь теперь ты стал по-настоящему зависим. Ради каждого куска хлеба, которым ты даже не брюхо свое насыщаешь, а лишь заглушаешь чувство голода, тебе приходится бороться с утра до вечера. Ты настолько слаб, что у тебя нет даже сил собирать бутылки. Кто-нибудь приносит что-то к скамье, где ты сидишь, и ты это что-то ешь и пьешь. Кто-нибудь проходит, ты обращаешься к нему, чтобы дал что-нибудь на выпивку, и он дает. И говорит, ни за что

не дал бы, если бы ты сказал, что хочешь есть, он терпеть не может, когда врут, и уходит с гордой мыслью: вот, сегодня он заплатил за то, чтобы на свете было чуть меньше лжи. Ты разговариваешь с другим бездомным, который пока еще довольно крепок, он едва полгода как стал твоим товарищем по несчастью: он приехал из соседней страны и здесь ему так и не удалось встать на ноги. Ты говоришь ему: ступай в лавку, принеси выпить; так Иисус сказал в свое время Лазарю: встань и иди. И он идет в лавку, но, пока возвращается, полбутылки выпивает сам: он ведь принес выпивку, а это плата за доставку.

Ты не знаешь, кто я. Я — не совесть твоя, я тебе никто, потому что у тебя и нет никого, хотя ты думаешь, что есть, и даже много; но когда наступит последнее мгновение, то мгновение, когда даже тебе станет ясно, что никакой надежды нет и что каждая клетка твоего тела истощилась в борьбе за жизнь, — тогда ты останешься совершенно один. Ты смотришь на других: они — нормальные люди, они просто пришли посмотреть, как ты умираешь. Ты смотришь на них. Они пока здесь, но ты уже — там. Те, кто здесь, они — вместе, а тот, кто там, непоравимо одинок. Тебя не зовут к себе родственники, мол, иди к нам, а может, зовут и говорят: пройди по этому световому туннелю, мы там, в самом конце, и ты отправляешься, оставляя сидящих здесь, а когда достигнешь конца туннеля, родственники, которые тебя звали, исчезнут, исчезнут дед и отец, исчезнет твой друг, который совсем молодым, как раз на другой день после твоей свадьбы, погиб в автомобильной аварии. Они исчезнут, но и тебя уже не будет. Ты тоже исчезнешь, словно тебя и не было никогда. И не имеет никакого значения, останется ли память о тебе, потому что память лишь для живых

есть часть жизни, жизни, причастным к которой ты уже никогда не будешь.

Ты не знаешь, кто я. Я — не голос, который звучит, а у тебя есть уши, чтобы его услышать, и ты услышишь, — нет, такого голоса нет. Голос в твоих ушах говорит только то, что ты знаешь и так. Я — не твой третий глаз, который открыт мирозданию, ибо оттуда, где ты находишься, мироздания вообще не видно. То, что ты считаешь мирозданием, это — отражение твоей ничтожности. Ты страшишься, ты в ужасе от того, что череп твой лопнет и что врата небес в самом деле распахнутся, и ты увидишь чертог небесный, и ощущение того, насколько ты ничтожен и незначителен, раздавит тебя. Тебе страшно, что ты погибнешь под собственным весом, весом пылинки. И ты в самом деле погибнешь. Напрасно ты говоришь, что ты уже, в сущности, там, по ту сторону, потому что быть по ту сторону можно только однажды. Напрасно ты говоришь, что тебе все равно, — ночью тебя охватывает страх смерти, он наваливается на тебя во сне, да, во сне — и не со стороны мозга, он приходит из клеток, и ты дрожишь в своей шкуре, словно густая краска в ведерке, которое кто-то случайно задел ногой. Ты дрожишь, как дрожат звери, они сами не знают почему, лишь в паническом ужасе прижимаются к земле под кустом, и в испуганных их глазах вздрагивает лунный свет. Ты тоже куда-нибудь забился бы, но нет рядом никакого куста, рядом с тобой храпит другой человек, другая женщина, ты уже и не помнишь, сколько лет, и не хочешь к ней прижаться, потому что знаешь: она тебя ни от чего не защитит, потому что и сама беззащитна. Ты знаешь, что, если прижмешься к ней, храп станет громче и тогда ты совсем не сможешь заснуть. Ты знаешь, что если прижмешься к ней, то

почувствуешь ее запах, запах ушедшего времени, запах, который тебе совсем не хочется ощущать. Лучше закутайся в свое одеяло, в скопившийся за ночь запах собственного тела — вот твоё гнездо и убежище. Вот он, твой дом, который создал тебе творец.

Ты — такой же, как затаившиеся под кустами звери, ты ничем не лучше их, теперь-то ты точно знаешь, что не лучше. В ходе развития племени развивалось не то, что должно было развиваться. Развивалось сознание, которое помогает тебе с упорством муравья ползти, пока ползется, по своей жизни; развивались желания, пестрое разноцветье которых заслоняет тебе скучную реальность. Сознание вместе с желаниями закрывают перед тобой то знание, делающее тебя человеком, что, если смотреть на суть, ты в ходе развития племени не продвинулся вверх ни на дюйм. Мир движется к чему-то, считаешь ты, движется в хорошую сторону, к лучшим мирам, но что могло быть лучшим, если ты-то не стал лучше, не стал выше, чем твои пращуры, от которых остались лишь сгнившие кости да примитивные каменные орудия.

Откуда тебе знать, кто я такой. Ты хочешь исследовать мои раны. Хочешь копаться в дыре, что зияет в моей руке, хочешь узнать, я ли это. Ты уверен, что обнаружишь первопричину моего плачевного состояния, если вложишь пальцы в рану, пробитую в моей грудной клетке, — тогда ты сможешь нащупать то, что привело меня сюда. Ты хочешь найти мою историю, ищешь сказку, которая выведет тебя отсюда, которая вознесет подземный гараж на воздуси, а то и на небеса, туда, куда католики помещают свой рай. Но у меня нет ран, меня привели сюда не обиды, просто я — здесь. Я здесь, потому что захотел

быть здесь. Не у всего есть причины, но ты не можешь вынести, что у чего-то нет причины, что ты не можешь ткнуть пальцем в ту роковую ошибку, которая вышибла меня из прежней жизни и поставила на эту стезю. Ты хочешь увидеть какой-нибудь знак, как на шоссе, когда там образуется пробка: ты боком-боком продвигаешься до тех пор, пока не доберешься до места, где случилась авария или сужение проезжей части, которая в конечном счете и объяснит, почему остановилось движение. Но сейчас ты ничего не найдешь, ничего такого, что помогло бы тебе в дальнейшей жизни, дескать, видишь, я же сказал, так жить неправильно, и вот тебе результат, вот к чему привела неправильная жизнь. Нет у меня никаких ран; тот, у кого раны, он — другой человек, он не здесь работает, не в подземном гараже.

Зачем ты приехал сюда? Зачем ты приводишь сюда свою машину? В театр собрался? Есть здесь поблизости один театр. Кто ты такой: зритель или знаменитый актер? Оставишь здесь машину, а сам пойдешь на репетицию? Наверно, готовится какой-то спектакль, который позволит тебе отвлечь внимание зрителей от того, что происходит вокруг? Неужто ты кому-то интересен? Неужто кто-то придет смотреть, как ты кривляешься, в гриме и в дурацком костюме, на сцене? Им скучно, вот почему они приходят. Я вижу, как они выбегают из гаража, потому что у них нет сил оставаться внизу, разве что на пару минут, или потому, что опаздывают.

Я тоже мог бы стать актером, только не захотел. Не хотел каждый день притворяться кем-то, не тем, кто я есть. Мне хватало того, кем я был на самом деле. Но теперь у меня и этого нет. Я все бросил. Директор института не мог понять, в чем дело; не по-

нимали и те, с кем я работал. Что с того, что они по горло сидят в современной физике, где может случиться что угодно и когда угодно, — но они все-таки ищут объяснение, ищут причины, хотя никаких причин нет. Я пришел домой, посмотрел на тех, кто там живет. Дети, мои дети. Я смотрел на них, вспоминал чувства, которые испытывал к ним, когда они были маленькими, но в которых они больше не нуждаются, потому что у них теперь иные интересы, иные устремления, а я со своими чувствами только сбиваю их с толку. Это — как путы на ногах, путы, которые удерживают их в моем мире. Я видел, как они бьются в этих путах, которые я, вместе с их матерью, сплетал, не жалея сил. В путах квартиры, где они выросли, в путах распоряжений матери и отца, в путах воспоминаний, которые отгораживают их от новых впечатлений, потому что за каждым их шагом брезжит некая смутная догадка: а ведь этот шаг мы когда-то сделали со своими родителями, и тогда мы были такими веселыми, — и они уже не радуются, что могут сделать этот шаг снова.

Заботливое и внимательное воспитание напрочь лишает их способности во взрослой жизни быть открытыми радости; вся их жизнь пройдет, омраченная тенью сознания, что им не дано узнать, почувствовать еще хотя бы раз то счастливое беззаботное состояние, которое доступно ребенку. Людей, страдающих таким болезненным отклонением, полюбить невозможно. А если все же найдется кто-то, кто будет столь опрометчив и на это отважится, они всегда будут, явно ли, про себя ли, ставить ему в вину: вот-де, когда я с мамой и папой... И в конце концов человек этот сбежит от них, потому что кому же охота, вместо того чтобы жить реальной жизнью, все время сражаться с какими-то при-

зраками детских воспоминаний. Дети эти вырастут людьми одинокими, и главное, что они будут носить в себе, — это раздражение, которое человек одинокий испытывает по отношению ко всему миру, и никто не сможет с ними выдержать даже одного часа, потому что они, из гипертрофированного чувства справедливости, вечно будут критически оценивать любую другую жизнь.

Я видел эту клетку, которую сам когда-то с таким старанием сооружал из чистого доброжелательства и любви. Я видел путы, в которых они бьются, не умея справиться с бесконечным количеством воспоминаний, нагроможденных в их головах, и воспоминаний, накопленных в предметах, которыми заставлена их квартира, в альбомах и грудях фотографий, не поместившихся в альбом. И тогда я собрался с духом и занялся этими фотографиями: выбросил те, на которых был я, а был я на очень немногих, ведь большинство из них я сам же и делал, я был тот, кто не переживал события, а наблюдал их со стороны, через объектив фотоаппарата.

Вот и все, конец, сказал я себе, не хочу больше быть стражем в этой тюрьме чувств, будьте свободны, пускай лучше на месте отца зияет пустое место, чем вечно присутствующая там воля. Будьте свободны, как и я стал свободным, когда наконец избавился от присутствия моего отца. Потом я взял пару вещей, столько, сколько вошло в небольшую дорожную сумку. С этой сумкой дети ездили на экскурсии с классом, в ней легко помещалось все, что нужно было на три дня, а теперь поместилось все, что мне может так или иначе понадобиться в ближайшее время. Сложив сумку, я вышел в кухню. Жена стояла спиной, у газовой плиты, что-то помешивая в кастрюле. Она не видела сумку у меня в руках; я ска-

зал: ну, тогда все твое, кроме меня. Она не поняла. Поужинаешь, спросила она, перед тем как... Именно это она сказала, потому что ужин как раз был готов. Я ответил, что не хочу есть. Она повернулась и посмотрела на меня. Это из-за той женщины, сказала она и стала что-то говорить о моем возрасте, о преувеличенном самолюбии, связанном с возрастом, об этом обычном недостатке, которым страдает каждый, то есть каждый мужчина. Она говорила то, что говорит любая жена. В словах ее не было ничего нового или чего-либо, относящегося к конкретному человеку, конкретно к нам и к нашей ситуации.

Ты как раз в том возрасте, сказала она, когда мужчины, мучимые тщеславием, из-за какой-нибудь женщины запутывают вокруг себя все, чтобы в скором времени потерпеть катастрофу, которая страшнее всех прежних. В шестидесятилетнем возрасте они еще могут вкалывать ради новых детей, ну и ради молодой жены, которая к этому времени уже поймет, до чего скучно проводить жизнь с пожилым мужчиной, его едва можно оторвать от телевизора, и любое занятие, которое для более или менее молодой женщины приятно, для старого мужчины или неинтересно, или, в силу угасающих физических возможностей, нереально; тем более что все это у него уже было. Я бы ни за что такого старого мужа не выбрала, сказала она. Правда, через какое-то время, продолжала она, для этой женщины тоже станет удобной и привычной надежность, ради которой она выбрала пожилого мужа, к тому же у нее будет право, по существующим законам, на половину нажитого вместе состояния. Уж ты поверь мне, сказала моя жена, она очень быстро это поймет — и тогда начнет поглядывать на более молодых мужчин, которые, конечно, что говорить, охотно откроют душу

такой женщине, ведь они наверняка будут думать, зная о ее старом муже, что она никогда в жизни не была по-настоящему удовлетворена. Сидя в корчме, перебивая друг друга, они будут спорить, кто первый ее заполучит. Да там, поди, паутину надо сначала снять, скажут они, и будут ржать во все горло, ну а еще будут расхваливать ее грудь. В общем, тогда старому мужу, каким ты станешь, придется покупать всякие подарки, платья, устраивать экзотические поездки, всё для того, чтобы женщина осталась с ним, не судилась бы из-за имущества и из-за детей, чтобы семья сохранялась хотя бы формально. От всей это суеты, от множества всяких задач и программ мужчина в конце концов настолько вымотается, что, надо думать, вздохнет с облегчением, когда придет время ему умирать.

Это все из-за той женщины, сказала моя жена, — хотя той, кого она имела в виду, давно уже не было. Та была пятью годами раньше, когда я еще действительно чувствовал, что нахожусь в том возрасте, о котором говорила моя жена; конечно, она совсем не имела в виду все то хорошее, что, наряду с трудностями, может дать такая новая связь. Например, накал любовного чувства: ведь делать что-то, пускай хотя бы просто дышать, стоит только до тех пор, пока мы на это способны, а я тогда был на это способен. Об этом она не говорила, да и о ребенке, который может родиться, говорила лишь в негативном смысле, как о большой обузе, хотя ребенок — не только куча новых забот, но и единственное оправдание тому, что мы живем на свете, это ей, как учительнице биологии, уж точно надо было знать. Но тогда, когда я мог бы принять решение в пользу ребенка, я не принял его, а женщина не стала больше ждать, так что время ушло окончательно и беспово-

ротно. Теперь я уже не был в том возрасте, чтобы взвалить на себя такие обязанности. У меня вообще не осталось никакого доверия к жизни, которой я жил, и я не хотел обманывать себя новой фальшивой иллюзией, даже имея в виду, что она закроет передо мной невыносимую близость этой жизни, к которой я утратил доверие.

Нет, сказал я ей, это не из-за нее, это из-за меня. Просто с меня хватит. Я же знаю, это из-за той женщины, сказала она, потому что любой ценой цеплялась за объяснение, которое для нее было понятным, за объяснение, которое позволяет перенести то, что происходит, и лучше указать на него, чем на самое себя или пускай на меня. Да знаю я, продолжала жена, она с тех пор все делает, чтобы мы не оставались вместе. Это вроде запаха горелого жира, который проникает даже в оконные щели... Она все сделает, но не позволит, чтобы нам, она произнесла это особенно четко, хотя между нами уже давным-давно ничего не случилось, — чтобы нам снова было хорошо.

А ведь ее тут в самом деле не стоило бы даже упоминать, у меня давно уже в голове не было ничего, что означало бы ее. Или, может, все-таки оставалось, не знаю. Позже я думал, что конечно же и из-за нее тоже: ведь в том, что я стал таким, каким стал, сыграла роль и та женщина, и то, что о ней, о той женщине, я сказал: нет. Я сказал «нет» той жизни. Тому чувству, которое тогда глубоко пропитало каждую мою клетку, вот ему я сказал: нет. Я не могу судить, что стало бы, скажи я «да»; у меня брезжили только смутные предположения, что это «да» совсем не обязательно означало бы благоприятную для меня перемену, хотя я точно знаю, что предположения эти — тоже следствие моего отрицательного ре-

шения. Я сказал «нет», а тот, кто сказал «нет», с той самой минуты заинтересован в том, чтобы все подтверждало это «нет». Он хочет уверить себя в правильности своего «нет», хотя каждый знает: нет никаких решений, есть только жизненные ситуации, которые выглядят как решения. Эти видимости решений — лишь сложившиеся независимо от нашей воли перипетии нашей судьбы, мозг же послушно обосновывает эти перипетии, хотя, случись в жизни другой поворот, мозг так же усердно оправдывал бы и его. Нет правильных и неправильных путей. Качественная характеристика жизненных путей — это субъективное, вытекающее из нашего характера осмысление судьбы, и как бы сильно ни верили мы в свою интуитивную способность правильно видеть вещи, никакой объективной истины в этом видении нет; или, можно сказать и так, именно субъективность эта и есть истина: ведь в нашей жизни что-то происходит, а что есть истина, если не то, что как раз происходит.

В каком-то смысле жена моя была права: все произошло из-за той женщины, которую она называла другой, или последней шлюхой, или просто женщиной. Хотя на это я мог бы возразить, что произошло это именно из-за нее, из-за моей жены: ведь и та женщина появилась потому лишь, что жена была такой. Однако нет смысла искать логику в происходящем, любой иной ход событий мог бы иметь место и выглядеть так же логично. Я ушел, я бросил все, я скинул со своих плеч бремя соответствия вещам и людям, бремя соответствия работодателю. Бремя воли чужой и бремя собственной воли.

Зачем ты явился сюда? Это твоя машина? Или ты взял ее на время в своем офисе, или попросил у

отца? Ты не знаешь, где я нахожусь, но я вижу тебя в камере наблюдения. Я знаю, кто ты такой. Я уже несколько лет за тобой слежу. Ты явился сюда, чтобы продолжать ту жизнь, которой жил до сих пор. Нет, я не тот человек, который изменит мир, мир никто изменить неспособен. Я — лишь один из тех, кто способен что-нибудь предпринять против того мира, в котором мы живем. Каждый может сделать непригодным для жизни лишь то место, которое он занимает по праву. И я сделаю, что должен сделать, но не потому, почему делают это арабские террористы или революционеры, которые прячут дремлющую в них агрессию под идеологиями, призывающими вроде бы к спасению мира. Я — не лучше кого бы то ни было, я — не лучше тебя, и ты — не лучше меня; не существует такого, что кто-то лучше или хуже других. Судьба наша будет общей, как была общей и до сих пор. Ну да, ты считал: в каком-то смысле твоя судьба — лучше моей. Ты смотрел на меня или не смотрел, замечал или не замечал, ведь тебя не интересовало, сидит ли кто-нибудь в той стеклянной кабинке, за камерами наблюдения. Не ты сидишь там, в этом суть.

Ты ничего обо мне не знаешь. Ты не знаешь даже, прячусь ли я в тебе или живу вне тебя. Что есть нечто в глубине твоего сознания, стеклянная кабинка с камерами наблюдения, и там сидит кто-то, кто всматривается в тайные закутки сознания, кто вечно хочет разрушить с трудом выстроенный порядок, кто натравливает друг на друга твои центры сна и бдения, чтобы ты не в состоянии был заснуть и ночами мучительно думал, как ты сможешь пережить завтрашний день, и вообще пережить, и особенно после бессонной ночи. Ты не знаешь, нахожусь ли я в тебе, тайный агент из мира подсознания, или вне

тебя, жалкий бездельник в подземном гараже, которого можно просто послать подальше, если он попросит денег. Ты не знаешь, кто я, ты воспринимаешь лишь поверхность, навешанные снаружи знаки, так же как и внутри себя ты видишь только поверхность, а глубже заглянуть не смеешь, потому что там, запертые на ключ, живут чудовища.

Я уже не смотрю на камеры наблюдения, меня не интересует, какое у тебя лицо, почему ты смеешься, когда вылезает из машины, что там у тебя случилось, что произошло с тобой такого забавного: какое-нибудь вечернее приключение или деньги пришли на твой счет; меня не интересует, как ты приводишь в порядок машину, как открываешь и закрываешь ее, каким товаром набит твой багажник, есть ли с тобой женщина, та же она, что вчера, или уже другая. Ты меня — не интересуешь, я отказался от тебя, как и ты отказался от себя самого. Ибо тем, что ты ничего не делаешь, тем, что ты смирился, пускай все остается неизменным, — ты стал стражем пустоты, стражем наполняющего тебя зияния. Ты бдительно следишь и в самом себе, и вокруг себя, чтобы ничто не проникло туда, в пустоту, которая живет в тебе. Ты думал, что я — охранник в подземном гараже, но это не так.

Я не смотрю на экран, разве что иногда бросаю на него взгляд, случайно или, например, как сейчас, потому что жду кое-кого. Мне любопытно, когда они придут. Смотрю на экран: ничего. Маленький красный автомобильчик. Я знаю, какая это марка. Мне знакомо это авто, такое женщина получает на Рождество от мужа, разбогатевшего на подозрительных финансовых сделках, чтобы даже на Рождество лишний раз похвастаться своими деньгами

или чтобы женщина еще больше любила его. В этот вечер она, может быть, в самом деле любит его сильнее, но за несколько дней привыкнет к тому, что у нее есть авто, и все будет таким же, каким было до сих пор. Я знаю все машины. Какое-то время я только этим и занимался. Смотрел, когда и какие приезжают и каких марок больше всего бывает за день. Я составлял таблицы, в институте я привык чертить всякие графики, — здесь я пробовал выяснить соответствие цвета, размера и марки с водителем. Сначала всего лишь — женщина это или мужчина, потом — с учетом других различий: толстый, худой, лысый, старик, среднего возраста, молодой. Данные были у меня в голове, и я в любой момент мог перейти с одного графика на другой. Вот появляется маленькая красная машина, останавливается в зеленом секторе, потому что там как раз есть место, там она и останавливается, я вижу в камере.

Из машины выходит женщина. А те, кого я жду, все не приезжают; я не знаю, по какой системе они проверяют разные гаражи. Не знаю, сколько групп они высылают. Знакома мне эта женщина? Может, сначала они обследуют места в центральной части города. Я знаю эту женщину. Знаю, да, но что она здесь потеряла? Именно сейчас, что ей здесь надо? Обычно она сюда не приезжает, это ей не по пути. Как-то, давно, она сказала... Мы сидели на постели, потому что я знаю эту женщину, на нас не было ничего, только рука другого. Она сказала, что хочет купить машину, это было бы так здорово, взять и поехать куда-нибудь, куда захочется, и остановиться, где захочется, в любом месте. И не было бы никаких таких досадных вещей, как уличное движение, а вечером, в восемь часов, остановиться в какой-нибудь деревушке, и пускай вокруг плечистые парни с на-

глыми глазами. Она и меня взяла бы с собой, сказала она.

Тогда она взяла бы меня с собой, потом, позже, нет; или взяла бы кого-нибудь другого. Она купила машину. Но — чтобы сюда! Это точно она? Чертова камера. С такой камерой наблюдения кого угодно можно принять за кого угодно. Здесь — совсем не то место, о котором она говорила, не то место, где можно ехать и останавливаться, когда придет в голову. Как путники в сказках: под высоким небом, в глубине огромных пещер, за тридевять земель, на кручах стеклянных гор, в царстве фей или на земле великанов, где даже самый маленький камушек величиной с гору. Здесь — не то место, сюда приезжают с какой-то целью и с какой-то целью проводят здесь время, это такое же место, как любой гараж, это — не пространство свободной воли, а пространство, где все заранее предопределено. Зачем она сюда приехала? Что ей нужно? Кто сказал ей, что нужно приехать сюда? Кто сказал ей, что я здесь и что нужно сломать живущую во мне волю? Она приехала для того, чтобы сломать? Это ей, наверно, подсказала старушка, которую она встретила в дремучем лесу, или какой-нибудь добрый карлик, какой-нибудь грустный гном, каким в сказках поручено оберегать сказочное королевство от всяких злых сил.

Что-то всегда еще может болеть, даже спустя пять лет, но сейчас-то, когда прошло столько времени, боль должна прекратиться, сейчас должен настать конец. Или нет, боль всегда остается, замурованная в тех камерах, и, если кто-то собьет замок, она снова вырвется и набросится на каждую клетку, на все то, о чем ты давно думал, что там ничего не осталось, что оно не может чувствовать, что оно уже умерло. И вот она — здесь, она выпустила боль.

Не хочу ее! Не хочу! Я — не в счет, это в порядке вещей, и я, и те, кто этого заслуживает, а заслуживают, кроме нее, все. Зачем она здесь? Я заявил в полицию. Власти знают: подземный гараж, Будапешт. Ну да, я не уточнил, который гараж — кто окажется быстрее. Я оставил шанс. Это — моя игра. Я дал возможность, чтобы ей помешали. Но они все еще не прибыли. Когда они придут? Вот, сейчас. Я слышу голоса. Это их голоса? Они едут? Вой сирен, крики, лай. Времени почти не осталось. Минуты. Они приближаются, я вижу на экране, они вот-вот будут здесь. Я смотрю на женщину. Она копается в сумочке. Сколько она еще будет этим заниматься? Сейчас они ее проверят. Они бегут. Женщина, вышедшая из машины, стоит на месте. Она не понимает, что происходит. Я вижу ее в камере наблюдения. Скорее, слышите, скорее же! Я кричу. Выкрикиваю ее имя. Распахиваю дверь своей кабинки. Скорей, она там. Нужно туда... Они совсем близко, но никак не могут туда попасть. Тепло, тепло, тепло, теплее. Когда уже станет горячо? Когда? Почему в сторону? Куда вы? Там холодно, очень холодно!..

Она — там. Собаки учуяли. Сейчас окружают ее. Взрывчатку я купил у одного украинца. Это было очень легко. В самом деле, пустяк. Пишешь в поисковой строке, что тебе нужно, и сразу тебе выпадет куча сайтов. Еще два шага. Всего два. Никак эти два шага не кончаются. Я тоже жду. С каждой секундой конец все ближе. Я кричу и бегу из стеклянной кабинки к женщине, потому что нет, не может же быть, чтобы...

Собаки, вскинув головы, рычат на меня. Человек, один из приехавших, представитель власти, кричит. Кричит куда-то в пространство гаража. Убирайся отсюда, слышишь, прочь. Но я не могу остановить-

ся. Мне надо туда. Я подбегаю ближе. Я знаю, где оно, я знаю! Ты тоже подходишь ближе. Даже если не знаешь, что это случится сейчас. Стойте! Стой, кричат они. Я тоже кричу. Я выкрикиваю женское имя, уходи отсюда, слышишь, уходи! Женщина не слышит. Стоять! — кричат мне. Будем стрелять, если не остановишься. Стой! Я бегу к ней. Уходи, слышишь, уходи сейчас же! Стой, кричат мне, или стреляем. Автоматная очередь в бетонное перекрытие гаража. Стойте! Ты все ближе, ты тоже, ты тоже распахнул в себе стеклянную будку и бежишь, с каждой минутой все ближе, с теми минутами, которые — хорошие минуты, и с теми, которые плохие. Слышишь, уходи. Что ты ищешь в той чертовой машине? Слышишь! Ты все ближе и ближе, ты не кто иной, как я, ты — тоже тот, кто все ближе и ближе. Ты тоже можешь лишь приблизиться. Стоять! Стреляем! Мне все равно, но эта женщина не должна здесь остаться. Если всему конец, ей не должен быть, не должен быть конец.

Я слышу голос. Я его слышу, значит, в меня не попали. Она смотрит на меня. Она не верит своим глазам. Она не понимает, что происходит. Почему стреляют? Я слышу, я еще слышу... Теперь — не слышу, теперь не слышу, теперь не слышу, уходи, слышишь, уходи отсюда, уходи...

Не думала я, что снова его увижу.

Он вернулся в старый дворец, где, как он говорил, воздух такой спертый, что дышать невозможно, напрасно он открывал окно, устраивал сквозняк, тяжелый запах никуда не девался, и тогда он понял, что запах этот — запах старости, запах его старого тела, запах старого тела жены, запах старой мебели и старой одежды, и он бежал от этого запаха, чтобы в конце концов вернуться туда же. Как неспособен он был избавиться от своих ран, скорее готов был отказаться от выздоровления, так не мог расстаться и с этим спертым воздухом, с ощущением, что вот-вот задохнется. Только так он и мог жить, задыхаясь, с этим он свыкся, это и был для него — дом. Он не знал, что это такое — быть счастливым, он всегда засыпал, не дождавшись конца сказки, добравшись лишь до испытаний, через которые должен был пройти храбрый рыцарь. Он думал, что ему это, быть счастливым, не положено; или дело лишь в том, что он не мог жить без того количества боли, к которому привык дома. Со мной он чувствовал себя плохо, потому что ему было слишком хорошо со мной. Подобно тому как прокуренные легкие страдают, вдыхая чистый, богатый кислородом воздух,

так он страдал от той радости, которую чувствовал, когда был у меня. Он был младшим сыном бедняка землепашца, который получил не полцарства: на него вдруг обрушилось все царство, а он-то привык к пахоте, к севу, а вовсе не к тому, чтобы сидеть на троне и повелевать.

Не знаю, что там с ним стало, на старом месте.

Да мне это было и не интересно.

Может, его похвалили, мол, ах как здорово ты решил, славный рыцарь, и устроили праздник по случаю возвращения, пышный бал со старыми друзьями, с почетными гостями, со всеми — кроме меня — главными и второстепенными персонажами сказки; или, наоборот, за авантюры, которые поставили под вопрос прежнюю жизнь, наказали. Жена при каждом удобном случае ворчала, мол, радуйся, что после всего я еще согласна стирать на тебя, обед тебе варить. Дети перешептывались у него за спиной, смотри-ка, это тот самый папа, про которого они думали, что он — могучий рыцарь, которому можно доверить сколько угодно жизней, ну как минимум — их жизни, и вот ишь ты, какой дряхлый старикан из него получился. Да, конечно, когда-то он отправился в сражение, но, вместо того чтобы биться там не на жизнь, а на смерть, он ломал голову над дурацкими мирными условиями, чтобы сохранить обе армии, и в конце концов, поджав хвост, убрался с поля битвы. Отправился как витязь, а вернулся как брехливый солдат-отставник. Это, называется, мужчина, он способен только бежать, говорили они друг другу, и даже соль ему не передавали за обедом. Протяни руку и сам возьми, говорили ему. Он, смутившись, немного приподнимался на стуле и тянулся через стол. И правда, ни к чему было просить, он и так достать может.

Не думала я, что когда-нибудь снова увижу его. Я избегала всех мест, где могла его встретить. Не знаю, что сделал с ним этот разрыв. Каким он стал? И каким стал бы, если бы этого не случилось. Сколько раз может человек растоптать, без вины, без причины, чувство, сколько раз может пустить кровь не злобной мачехе, а доброй фее, думала я. И вот — снова у него получилось, снова он остался в живых, а я — нет.

Хотя я не могу жить несчастной. Да я и не живу несчастной. Я начала все снова, с другим. Так мне советовали подруги, и они были правы. Я и не замечала, что там, в тени нашей любви, меня ждет другой мужчина. В тени каждой любви стоит, ожидая своего часа, целая армия рыцарей, тех, кто, как только появится возможность, тут же норовят устроиться в опустевшем гнезде. Я особенно и не смотрела, каков он; важно было лишь, что он — тут. И важно, что ему я нужна такой, какая я есть. Неприятно сознаться себе, что для меня это не так, или — не в такой степени. Чем меньше он мне нужен, тем больше хочет меня. Бежит за мной, как прирученное домашнее животное. Он непохож на героев басен, скорее уж — на собак, которых выгуливают в парке, или на кошек, которые живут в комнате и норовят потереться о твои ноги. Но он появился, и он сделал все, что для женщины хорошо, если сделано. Я же тогда прогнала младшего сына бедняка землепашца из головы. С помощью сказочной терапии уничтожила в себе сказку, которая все никак не желала заканчиваться. Бросила я ее в соленый колодец, потом вытащила оттуда, бросила под колеса, потом и оттуда вытащила, бросила в печь, потом вынула и оттуда, а она, сказка, все еще немного жила. Пришли турки, схватили ее, подняли на дыбу, увезли в Стамбул, закрыли в Семибашенный замок, а она все

жила. Прошло пять лет, и замуровала я ее в самый дальний угол, и теперь она там, в неволе, и никакой взрывчаткой ее оттуда не вызволить. И на железобетонной, в метр толщиной, стене написано только: нет. И никто, никто уже не будет рассказывать эту сказку дальше.

Что вам надо?

Чего вы бежите ко мне?

У меня его нет.

Если он принял плохое решение, пусть сам ищет выход, меня это не касается. Я вот — нашла выход, спрятала чувство в дальний угол, там оно за семью замками, за толстой стеной, там оно разложено по стеклянным банкам, как варенье, там оно — в морозильной камере. Мне уже никогда не понадобится эта убранный в дальний угол еда. Для меня это уже не еда, а яд. Была ли она когда-то, не помню. Да, я его узнаю, но он не несет мне того, что приносил когда-то, он потерял то чувство, я же — нашла и спрятала. Чего вы от меня хотите? Оттуда оно уже никогда не вырвется. Оно там, но уже не подстережет меня, не вторгнется в мою жизнь. Напрасно вы бежите ко мне, вы не сможете меня коснуться, минувшие пять лет растолкли, размололи его во мне. Я живу и рада тому, что живу, надо радоваться каждому дню. Сейчас — весна, зима кончилась, снег растаял. Надо радоваться хоть этому. Для меня он — не он. Я уже не узнаю его. Бежит какой-то мужчина. Я вижу, бежит какой-то мужчина. Для меня это ничего не значит. Ну, бежит... Пускай бежит. Полицейские... Случилось что-то? Выстрелы. Для меня он не существует. Что здесь происходит? Он вовсе и не ко мне бежит? С чего бы какому-то мужчине бежать ко мне? Спасается бегством? Почему? От кого? Почему в него

стреляют? Почему кричат? Стой! Стой! Вот он останавливается. Говорит что-то. Делает еще шаг, правая нога сама скользит вперед, по инерции. Что он говорит? Что любит? Да, он говорит: любит.

Он говорит, что любит?

Он падает так, будто это война. Дедушка мне рассказывал. Ничком. Я не слышу, как он падает, какой-то грохот заглушает все, даже крики полицейских. Что это за шум? Что за грохот, что происходит? Что-то у меня в голове? Что он сказал? Стены двигаются. Или это во мне все сейчас сдвинулось? Надо мне подойти, что с ним? Надо посмотреть. Что вы кричите, чтоб я остановилась, не могу я остановиться, я должна помочь, помочь ему, он же ранен. Тело его снова все в ранах. Не останавлиюсь, не останавлиюсь. Ладно, стреляйте, стреляйте. Я слышу, стреляют. Пускай стреляют. Я не останавлиюсь. Я должна коснуться его руки, поднять его голову, поцеловать в губы, должна услышать последние слова, которые он произнесет. Я не останавлиюсь. Что это за удар по спине, словно палкой, и опять, что это, что это за грохот?

Не бойся, мой единственный, я с тобой.

Я постояла немного. Потом положила трубку.

Не хотела я оставаться дома. Открывать дверь тем же самым ключом, натекаться на те же самые вещи, которые с детства заполняют квартиру. Шкафчик для обуви. Его я ненавидела больше всего. Из-за него нельзя было нормально открыть входную дверь: каждый раз она стучалась об угол шкафчика. А если у тебя было что-то в руках, то вообще с трудом получалось протиснуться. Не хотела я выслушивать те же самые фразы, мол, что на работе, как такой-то или такая-то — тут звучало какое-нибудь имя и к нему какое-нибудь определение, сволочь, или карьерист, или подонки, ни в чем не смыслит... Речь шла всегда об одних и тех же сослуживцах, всегда одни и те же были подонками и одни и те же — людьми хорошими. Подонки — это, как правило, начальство, они, конечно, незаслуженно занимают высокую должность и незаслуженно получают огромные деньги, и, конечно, дело в политических связях, ну или в отсутствии характера, а иначе как бы они еще пролезли на тепленькое место. А хорошие — это, напротив, те, которые похожи на моих родителей, специалисты в своем деле, но у них — моральные принципы, и начальство за моральные

принципы и за профессионализм их и ненавидит всей душой, хотя выгнать их все же не смеет, потому что без их профессиональных знаний, говорил за ужином папа, в учреждении вся работа наверняка пойдет кувырком.

Так оно и шло все время, семь дней в неделю. Ладно, иногда случался перерыв, когда учреждение, по какой-нибудь там своей прихоти, претендовало еще и на вечернее время своих сотрудников. Это было вроде скучного сериала, когда продюсер, махнув на все рукой, уже ни во что не вмешивается, не вызывает, мол, ребята, надо бы освежить характеры, и диалоги надо бы изменить немножко, падает же число зрителей. Ничто не менялось; если, конечно, не считать того, что за много лет я выучила каждую фразу наизусть. А этот-то, говорил папа, он опять, знаю, говорила мама, алкаш он и жене изменяет, — и она пересказывала весь текст, как таблицу умножения в школе, и дважды два всегда было столько, сколько должно было быть.

Не хотелось мне бесконечно наткаться взглядом на те же лица, на лица папы и мамы, лица, которые утратили в моих глазах былой свет, и свет этот уступил место какому-нибудь крему от морщин или просто серому оттенку, не хотелось наткаться на брошенную одежду, скинутую обувь, оставленные где попало чашки, стаканы. Не хотелось ощущать в ванной комнате, после того как отец побреется, приторную вонь лосьона, и затхлый запах пижамы, и запах давно не чищенной стиральной машины. Не хотелось после них влезать в ванну, на краях которой даже после мытья ванны оставались седые волоски. Не хотелось слышать, как они спускают воду в уборной, и ночные их звуки. Они думали, что не храпят, хотя спустя какое-то время храпели оба, а

утром показывали друг на друга, дескать, ты опять храпела, ой, а сам-то, — но разве важно, из-за кого из них ночь была невыносимо долгой и бессонной. Не хотелось видеть, как они едят, слышать, как жуют, и думать о том, помыли ли они руки, прежде чем резать хлеб.

Мне было двадцать пять. Я поняла: с меня — хватит. Моя роль, роль единственного ребенка, заключалась в том, чтобы связывать этих двух взрослых людей, которые давно уже лишь в таком составе и представляли собой единое целое. Долгое время этого было вполне достаточно. Когда мы сидели вместе, я сидела всегда между ними. Когда я ложилась спать, они уходили и углублялись каждый в свое дело, только телевизор смотрели вместе. Тогда их связывал, до конца программы, телевизор. Электронный страж, который на короткое время способен свести, объединить тех, кто давно уже не имеет отношения друг к другу. Тут можно было говорить о репортерах, обсуждать, какие они. Господи, родным языком не владеют, не разбираются даже в том виде спорта, о котором берутся рассказывать, да на что угодно могу спорить, что на телевидение они попали не благодаря таланту, а по блату, по какой-нибудь родственной протекции. Уж такая эта страна, теплые места тут всегда достаются тем, кто их не заслужил. Я слышала их. Я была у себя в комнате, но дверь оставалась открытой. Они забывали закрывать дверь, когда мне было два года, и с тех пор так и не закрывали.

Сидя у телевизора, они прислушивались ко мне. Если я шевелилась, взгляд их следил за движением одеяла, за перемещением тех мелких рисунков, которые были нанесены на пододеяльник. Там были какие-то улыбающиеся котята, которые прыгали из полутьмы в полную тьму. Бывало, что мне тоже

разрешали посидеть у телевизора: воскресенье, показывают вечерний фильм, в нем идет речь о любви. Нет таких фильмов, в которых не шла бы речь о любви, даже в детективных сериалах есть любовь. Дело приближается к кульминационной сцене. Мужчина вылезает из машины и вбегает в дом, к женщине. Женщина удивленно поднимает глаза: ты вернулся? Я не могу жить без тебя, говорит мужчина. Этого я и ждала, говорит женщина, ждала, что ты повернешься спиной ко всему остальному. К своей прежней жизни. Чтобы — только я и никого больше. Чтобы наступил такой сумасшедший момент, когда ничто и никто ничего не значит. И пусть твои дети нас ненавидят, и твоя жена пусть покончит с собой, все это — не важно, одно лишь важно: ты меня любишь. Они делают шаг друг к другу, и тут говорят уже только образы, словам тут делать нечего, настолько однозначна и очевидна любовь. И в этот момент руки папы и мамы поднимаются и соприкасаются перед моими глазами. Они закрывают от меня сцену, когда мужчина обнимает женщину. Отвратительно, говорит мама, вот, теперь даже в телевизоре. Или: ты что, не видишь, что происходит, закрой же ребенку глаза, — потому что папа не спохватился вовремя, увлекшись чувствительной сценой, которая в фильме заканчивается поцелуем, у мамы же в этот момент не было настроения двигаться. Она готовила воскресный обед и ужасно устала. Уж таков был воскресный обед: у него не было вкуса, была только усталость. Ты слышишь, снова говорила мама, и папа делал, что ему говорят. Папа всегда делал, что говорила мама. Иногда случалось, что между пальцами их соединенных рук оставались щели, но я не смела глядеть в эти щели: боялась того, что увижу.

Я почувствовала, что с меня хватит, уже в университете. Когда вернешься, да с кем ты, да куда вы идете, что делаете, сколько вас было, на чем ты вернешься домой. А вам не все равно, говорила я, вы же их не знаете. А они: мы же не говорим «нет», просто хотим знать, потому что беспокоимся, мама не может заснуть, если не знает, когда ты вернешься. Сколько всего случается, вон и телевизор показывает, кругом безобразия, преступность, а насчет безопасности... Ха, ее уже давно нет. Кое-где даже дома никакой гарантии, а уж на улице. Да мы ведь не что-то такое просим, достаточно одного слова, в котором часу, и все. Но я не хотела регламентировать свою жизнь даже одним словом, даже из-за того, спит или не спит мама. Вон другие дети, говорили они, сами все сообщают, не нужно из них силой вытаскивать даже пустяковую информацию, а друзей моих они потому и не знают, что я никогда про них не рассказываю.

Не хотела я уходить из дому на работу, а потом возвращаться домой. Чтобы папа говорил, ну, как там на работе, и чтобы я включалась в тот бесконечный сериал, в котором до сих пор участвовали только они. Чтобы я ввела туда пару новых персонажей, или в какой-нибудь сентиментальный момент, когда в руки попадет детская фотография, я бы говорила, о, помнишь, это же тогда, когда, — и смотрела бы, как они погружаются мыслями в прошлое и тянут меня за собой в то время, которое я давно оставила позади.

Я не хотела, чтобы они видели по моему лицу, что именно сейчас со мной происходит, ни если это что-то — плохое, ни если — хорошее. Чтобы они говорили, хорошо ли то, что со мной происходит, или плохо. Чтобы своей заботой, своей вечной, нескончаемой доброжелательностью прочно держали меня

в западне своего внимания. Нет, не хотела я этого. Меня уже трясло от их бесконечной заботы: это на-день, это не забудь взять с собой, ты сегодня обедала, прими витамин, сейчас такое гриппозное время. Мне было достаточно их постоянного присутствия, которым они лишали меня возможности принимать собственные решения. Нет, в самом деле, дошло до того, что — бывали такие годы — я не могла уйти из дома, не спросив: мама, этого пуловера сегодня достаточно? Нет, доча, говорила она и осуждающе трясла головой, какая же ты, даже одеться сама не можешь, посмотри, вон термометр, на балконной двери. Если бы не я, продолжала она, даже не знаю, что с тобой было бы, на первом же углу получила бы воспаление легких. А если я что-нибудь делала не так, как она сказала, например уходила в весенней куртке, потому что на календаре была весна, хотя погода все еще не могла стряхнуть с себя зиму, и случайно подхватывала какую-нибудь простуду, вот тогда начиналось: ну, видишь, видишь, я же сказала. И за время болезни, пока она ухаживала за мной, вновь расцветал, достигая апогея, родительский деспотизм, скрытый под маской любви и заботы.

Я знала, есть родители, и мои родители относятся как раз к ним, для которых единственная цель в жизни — любить свое дитя и все перенесенные ими неудачи, разочарования, всю скуку и пустоту, скопившиеся в их повседневной суете, компенсировать своими чувствами к этому дитяти. Утром они идут на работу для того, чтобы как можно раньше прийти домой и всю оставшуюся часть дня до вечера, и даже когда лягут спать, во сне, любить своего ребенка. Родителям этим ничего другого не остается: и то поприще, которое они себе когда-то представляли, и тот жизненный уровень, которого им так и не удалось достичь, — все это они для себя возме-

щают тем, что считают ребенка единственным подлинным оправданием своей жизни. Через своих детей они, конечно, хотят сделать достойными любви самих себя, свою судьбу. Ребенок здесь — лишь повод, чтобы любить самих себя; ведь в любой ситуации, когда, в интересах ребенка, может быть ущемлена их собственная роль, ну, например, если дочь, не дай бог, выйдет за такого амбициозного и волевого мужчину, в противостоянии с которым потерпит поражение любой родительский деспотизм, — что из того, что они видят, какая огромная это любовь, — они всегда примут решение не в пользу своего ребенка, то есть не прекратят строить козни против мужа. Они с презрением будут отзываться о его привычках в еде, дескать, вон он сколько ест, это же ненасытный обжора, к тридцати годам он превратится в мешок с жиром, с ним будет стыдно на улицу выйти; ну а если у мужа есть еще и родители: что это за люди, нет, в самом деле, это ведь даже из провинциалов — самая что ни на есть деревенщина. Они всегда примут решение против своего ребенка, потому что они ни на мгновение не допустят, чтобы ребенок был счастлив просто так, сам по себе.

И сыновья их, особенно если сыновья эти — маленькины сынки, но все-таки в наибольшей степени дочери, — все они находятся в опасности. Ты даже не замечаешь, ты все измеряешь по домашним нормам. Отца считаешь образцовым мужчиной и идеальным отцом, равного которому, очень возможно, у тебя и не будет возможности найти. Матери ты завидуешь и восхищаешься ею, восхищаешься тем, что вот она, и не ахти какая вроде красавица, женщина не с такими уж прекрасными данными, а сумела заполучить и удержать столь редкостного мужчину, да еще и умудрилась наладить уют и согласие в их маленьком сообществе. И ты решаешь,

что, когда у тебя начнется самостоятельная жизнь, ты ничего не будешь делать по-другому, все только точно, как мать. Соблюдать те же праздничные обычаи, готовить те же блюда. Зачем что-то менять, когда так и только так надо поступать.

На самом деле такие родители, следуя своим родительским инстинктам, хотят видеть в детях материальное продолжение своей любви и заботы: что бы с ними, детьми, ни происходило, оно в любом случае должно проистекать из того, чему их учили родители. Дело усугубляется еще и тем, что, как правило, этих детей их собственные дети тоже не принимают всерьез: ведь и для них, детей следующего поколения, сила воплощается в дедушке и бабушке, туда, к ним восходят импульсы, которые формируют их мир, а своих родителей они воспринимают лишь как что-то вторичное, а потом и вообще никак не воспринимают. Дедушки и бабушки как некая суверенная сила даже после смерти живут в семье, и в семейном дискурсе постоянно можно слышать: а что бы сказал на это дедушка, или: что бы сказала на это бабушка, или: ну мама, не делай ты того-то и того-то, бабушке это не понравилось бы. И мать испуганно вскидывает голову, что-то стискивает ей желудок, это что-то — не существующая уже в реальности рука ее родителей, и она вроде как слышит их голоса: вот видишь, даже дети это понимают, или что-нибудь в таком роде, и что бы она ни делала, эти голоса, особенно голос матери, звучат у нее в ушах. Говорила ведь я тебе, что ты пересаливаешь мясо, и — к чему ты кладешь столько масла, и — а ты помыла лимон, прежде чем его резать, и — надеюсь, ты не металлическим ножом его порезала... Голоса звучат из потустороннего мира, словно кто-то ведет оттуда репортаж о своем житье-бытье, — вот так по телевизору рассказывают о каком-нибудь спортив-

ном соревновании, тут же давая оценку результатам: да как это так, почему то, почему это, да с такими показателями даже в полуфинал не выйдешь, а уж о медали и думать нечего... Голос отца она слышала куда реже, отец чаще хмуро помалкивал, будто в глубине души осуждал вечное стремление матери командовать, — во всяком случае, дочь так считала, тогда как отец, не участвуя в разговоре, просто давал матери возможность реализовать свою командирскую сущность. Это стало огромным разочарованием — догадаться, что отец, ради того чтобы избежать конфликтов, во всем уступал матери, тем самым позволяя ей держать дочь в своей власти; более того, он был даже рад этому, потому что надеялся: тогда дочь всю жизнь будет видеть в нем, в своем отце, идеального мужчину, равного которому нет ни на небе, ни на земле.

Нет, этого я не хотела, но, если бы я осталась, так бы все и продолжалось: ведь сохранение того, что было в детстве, гарантирует и сохранение отношений, свойственных детству. Ребенок — всегда ребенок, любил говорить отец, и это действительно так и есть, когда ничего не меняется; состояние это остается даже после смерти родителей: ведь если детское бытие поддерживалось так долго, то, например, после пятидесяти лет, когда родители уже точно умерли, человек, если он до тех пор был ребенком, взрослым так уже и не станет.

Надо уходить из дома.

Можно, конечно, жить и одной... Но я не решилась. Пришлось бы выслушивать все время: зачем выбрасываешь столько на содержание целой квартиры, лучше же откладывать, а потом, когда в самом деле понадобится, когда созреешь, чтобы свое гнездо завести, ох как эти деньги пригодятся. Началь-

ный капитал, говорил отец, к тому же — своими руками заработанный. Я не посмела сказать, что я все равно уйду, потому что не хочу больше участвовать в этом скучном, нескончаемом сериале. Не хотелось обижать их, и я предпочла сказать, что тогда — замужество. Только замужеством можно было убедительно объяснить, почему я ухожу, думала я, тут не возразишь, дескать, как-нибудь вчетвером уместимся, потому что четвертому в этой квартире в самом деле места ну никак не было. И еще: если ты живешь с кем-то, независимо от них, в другой квартире, то можно ведь делать вид, будто никакой независимой жизни нет. Ну да, раз они ее не видят, то ее как бы и в самом деле нет; а когда я прихожу к ним, то прежняя жизнь, пускай на время, все равно восстанавливается. Я тоже приняла это, потому что и мне удобно, если не нужно все время думать о том, что папе или маме не нравится. Так что не только они хотели сохранить устоявшийся, привычный порядок, мне тоже легче было думать о них не как о людях, но лишь как о маме и папе, у которых нет в жизни другого дела, кроме как играть свою всегдашнюю роль.

Рано тебе еще, говорили, кроме моих родителей, подруги, которые, не найдя пока пару, не имели возможности совершить этот шаг. Рано тебе еще, слишком быстро появятся дети, а там, ты как бы и не жила пока, а на шее у тебя — все домашнее хозяйство, с кучей невыносимых проблем, из-за которых ты будешь точно такой, как любая жена, а отношения в семье — такими, как в любом другом браке. Потому что неправда, что есть счастливые и несчастливые браки и счастливые похожи друг на друга, а несчастливые — несчастливы каждый по-своему. Браки — они ни счастливы, ни несчастливы, да и ни в чем другом не отличаются друг от друга, нет в них ни-

каких особых различий. Каждый брак — такой же, как любой брак, их не различишь, как не различишь водолазов или китайцев.

Не торопись, не суетись, говорили мне, хотя уж подошло время, чтобы рука об руку с кем-то отправиться в жизнь. Оставаться после университета одной — дело рискованное. Вечеринки становятся все реже, возможностей знакомиться — все меньше, уменьшается число партнеров, которые могут приниматься в расчет. Тех, у кого данные получше, расхватают быстро, не пройдет и двух лет, как останется только кто похуже, то есть такие партнеры, о которых ты всю жизнь потом будешь думать, что их если и выбрали, то — за неимением лучшего. Выбирать нужно сейчас, когда это выглядит как неотложная необходимость, и выбирать нужно того, кто как раз под рукой. Пару лет назад под рукой еще был другой, но тот другой тебе был не нужен. С ним я представить общую жизнь ну никак не могла, не могла представить, что будет квартира, где живем я и он, и что будут дети, которые получатся из меня и из него. Хотя очень может быть, речь лишь о том, что тогда я вообще ни с кем еще не могла представить себе общее будущее. Дело не в том, что мы оказываемся под властью одного чувства, нет, совсем не в том, однако и не собственная наша воля принимает решение, а решение принимает таящаяся в нас и направляющая все наши действия жизненная воля. И вот эта жизненная воля сейчас как раз и дала знать, что пришло время начать с кем-то общую жизнь, чтобы года через два, привыкнув друг к другу, рожать детей, которых затем надо воспитывать, и это и будет наша жизнь, потому что чем же еще может быть наша жизнь, если не этим. Конечно, жизненная воля — не такая сила, которая явно себя

проявляет, не какой-нибудь военачальник, который громким голосом отдает приказы. Жизненная воля скрыта в твоих клетках, в твоих чувствах, она — везде, например в нервных рефлексах, и она — в том, как ты любишь человека, который находится рядом, и как он, этот человек, любит тебя, и поэтому то, как мы любим друг друга, выходит далеко за пределы чувства, называемого любовью. Это не просто смесь чувства и плотского желания, но и желание общения, желание общего жилья, общей постели, общего воздуха и общего созидания.

Конечно, в принципе можно выбрать и другое будущее; но это, о котором идет речь, самое близкое и доступное. Ну и каждый знает, что за жизнью другого рода, например без детей и нацеленной на карьеру, обычно есть основания подозревать какую-нибудь личную неудачу, скажем, потерпевший крушение брак, после чего женщина покидает этот рынок, потому что напрасно мы делаем вид, будто это не является своеобразным рынком, но это именно рынок, там есть и спрос, и предложение, и колебания конъюнктуры. У каждого там своя цена, и это точно знают те, кто участвует в торге. Свой прейскурант — у мужчин, свой прейскурант — у женщин, и сделки заключаются обычно в одном диапазоне цен, так что женщина, стоимость которой упала по причинам возраста, едва ли может надеяться на мужчину, находящегося в высоком ценовом регистре.

Женщина, если она выбирает жизнь, нацеленную на карьеру, по тем или иным причинам выбывает с этого рынка, а попасть может туда, лишь задействовав план Б, чаще всего — как любовница женатого человека или что-нибудь в таком роде, и становится настоящей феминисткой, посвятившей себя своей

профессии. В любой ситуации она преследует только одну цель — своей работой и всем своим бытием доказать: женщина способна справиться с любой задачей, которую предлагает ей общество, способна, по крайней мере, в такой же степени, как мужчина, а может быть, и в большей. Статистика показывает: женщины-водители — если взять лишь этот пример — становятся причиной дорожных аварий куда реже, чем мужчины, а аварий со смертельным исходом — почти никогда; разве что становятся жертвами аварий, вызванных агрессивным, нетерпеливым вождением мужчин. Правда, как говорил об этом в телевизоре один эксперт по дорожному транспорту, вызывают сомнение именно эти статистические данные: ведь статистика ничего не говорит о том, сколько аварий вызваны как раз осторожным стилем вождения, свойственным женщинам, и что в этих авариях жертвой становятся чаще всего мужчина-водитель и его машина. Женщина же безмятежно катит себе дальше, даже не заметив кровавого происшествия. Однако эксперт по дорожному движению тут же глубоко пожалел об этом своем утверждении: его партнер по разговору и репортер (женщина) набросились на него чуть ли не с кулаками, и в итоге время, отведенное на передачу, закончилось тем, что эксперт вынужден был удалиться с экрана с клеймом агрессивного женоненавистника. Короче говоря, нацеленная на карьеру женщина точно знает: везде, в каждой сфере общества женщины более пригодны для выполнения задач и, по причине своего, существенно более позитивного мирозерцания, приносят больше пользы человечеству. А в любом случае, когда успешен мужчина, она предполагает какой-нибудь сговор по половому признаку и, оглядывая путь, приведший его

к успеху, обязательно обнаруживает, что путь этот усеян трупами женщин, которые были устранены с дороги или как соперницы, или как любящие спутницы, ради амбиций мужчины принесшие в жертву многие годы своей жизни, чаще всего — лучшие годы. Она словно воочию видит триумфальное шествие, где впереди гордо выступает самец, а за ним, на почтительном расстоянии, тащатся рыдающие, униженные объекты его эгоистической любви, женщины, у которых в конечном счете была загублена, раздавленная непрекращающимися муками, не только личная жизнь, но и карьера. Эти женщины — на первый взгляд по идейным причинам, на самом же деле в результате краха их собственных сердечных отношений — презирают всякую, отличающуюся от их жизни, модель женского бытия. Образ матери, воспитывающей своего ребенка, для них — символ общества, в котором господствует мужчина. От полотен вроде Мадонны с младенцем их просто выворачивает. Вот почему они обходят стороной католические богослужения: от образов, украшающих стены этих храмов, они могут заблевать весь пол и скамьи. Они просто ненавидят эту слюнявую религию, прославляющую материнство и семейный уют. Они не могут забыть, какой удар по самолюбию они испытали еще в детстве, узнав, что Иисус — мальчик. В тот момент что-то сломалось у них в душе. Хотя непорочное зачатие им нравится. Охотней всего они и сами забеременели бы таким способом, ну или приняв какую-нибудь таблетку, а после того как это случилось бы, они отрезали бы половой орган у всех мужиков. И начали бы со своего отца, который в их детстве, не ведая стеснения, голышом расхаживал по квартире; затем пришла бы очередь остальных: первого мужчины в их жизни, второго и так

далее, всех остальных. Женщины эти свою независимость рассматривают как кульминацию человеческого развития, как конечную станцию дарвиновской эволюции, для реализации которой понадобились тысячелетия. Если бы мир двигался по этому пути дальше, читала я где-то в Интернете, то неизбежно возникла бы новая философия истории, где изменение мира рассматривалось бы с точки зрения борьбы женщин за свое господство. В конечном счете из истории вычеркнут и классовую борьбу, и расовое соперничество, и столкновение политических интересов — ведь все это выдуманно мужским обществом лишь для того, чтобы скрыть тот факт, что всемирная история есть не что иное, как борьба женщин за свое освобождение, а затем, когда эта борьба завершится успехом, — за обретение власти над всем миром... Я не хотела следовать этой жизненной модели. Так же, как большинство женщин, оставшихся одинокими, я выбрала эту модель лишь за неимением лучшего — хотя, собственно говоря, можно порадоваться, что у них был хоть какой-то выбор.

Дело вроде простое и понятное, а все равно невозможно понять, почему человек выбирает все ту же протоптанную дорогу, хотя ведь ясней ясного: пройдет какое-то время, и отношения между супругами станут ни к черту. Достаточно посмотреть хотя бы на родителей, или на их знакомых, или на родственников, на учителей. Спустя сколько-то лет почти каждый брак, как оказывается, держится уже не на любви, а на взаимной ненависти — можно подумать, что именно это негативное чувство создает самое сильное взаимное притяжение между двумя людьми. Ни один из супругов не решается рискнуть и пойти на разрыв этой эмоциональной связки, при-

чем отнюдь не по материальным причинам. Да, это именно так даже в случае, когда оба супруга жалуются: дескать, каким же образом из этой квартирki получатся две, причем пригодные для жилья. И не из-за детей: если дети уже давно отселились и все вокруг считают, что уж теперь-то эта пара разбежится, да так, чтобы не видеть и не слышать друг друга, — они все равно остаются вместе. Ни одно из стандартных объяснений тут не подходит. У супругов нет оснований опасаться, что они окажутся нищими или что на всю жизнь испортят отношения с детьми, — просто они неспособны расстаться со своей ненавистью. Им страшно представить, каким станет мир, если исчезнет это повседневное, всеобъемлющее, распространяющееся на каждый, даже самый мелкий жизненный момент чувство. Вот так же кто-то спасается от реальности мира, прячась в болезнь: давно уже нет у него никаких явных проблем ни с позвоночником, ни с желудком, однако психика все еще воспроизводит боль; так же и супружеские пары укрываются в ненависти, которая на всю жизнь обеспечивает им надежное самоощущение. И вот странная вещь: расходятся вовсе не те супружеские пары, которые, будь их воля и не противоречь это закону, в стакане воды утопили бы друг друга, — но скорее те, у кого остается какая-то любовь друг к другу. Именно остаток любви дает возможность покинуть другого, чтобы насладиться его отчаянием и, возможно, новой вспышкой бывшего чувства, — в противоположность ненависти, которая подобна чугунной колоде: тщетно ты пытаешься освободиться от нее, она тебя не отпустит. А если кто-то все же попытается вырваться, то, едва высунав нос из обжитого гнезда, он в ужасе спрячется обратно, не в силах справиться с нечаянным счастьем, с тем, что мир непохож на его домашний ми-

рок и что он снова способен любить, любить — бывает и так — даже ту самую женщину, которую он бросил, с именем которой и с проведенными вместе годами связано столько обид и боли.

Вот что видели мы вокруг, и видели, что за лежащими на поверхности официальными отношениями скрывается тайная, запутанная сеть связей, в которой могут цепляться друг за друга, обеспечивая друг другу телесные или душевные радости, самые разные вещи. Когда за тем или иным, с трудом поддающимся объяснению событием человек силится увидеть какую-то игру, противостояние политических или экономических интересов: интересов евреев, арабов, членов секты «Собрание Веры», унитариев, да мало ли, — чаще всего речь идет о простой похоти (или, допустим, о ее отсутствии). Конечно, каждый человек склонен думать, что к этой отвратительной трясине промискуитета уж его-то родители отношения не имеют, что, вероятно, так живут всякие актеры, знаменитые певцы, художники и писатели, ну еще кто-нибудь, кто хотел стать артистом, но, что называется, мордой, то есть талантом, не вышел, а потому нашел возможность попасть в одну колоду со знаменитостями, подражая их образу жизни. Хотя никто не может остаться вне этой трясины — ну разве что мужчины, по своим внешним или внутренним данным лишенные всяких шансов, мужчины, для которых найти себе женщину удалось лишь благодаря случайной удаче. На такого, то есть не имеющего никаких шансов, мужчину выбор падает в, можно сказать, исключительный момент, когда женщина, например, пережила огромное разочарование в своих отношениях с хорошо выглядящим мужчиной и решила, из мести и, конечно, в расчете на надежность и верность до могилы, свя-

зять свою жизнь с никудышным человеком. Никудышный этот человек в самом деле прикипел к ней настолько, что его и кнутом нельзя было бы прогнать из супружества. Конечно, у него тоже слюнки текут, когда он смотрит на других женщин, только эти другие женщины, если заметят его масленные взгляды, должны почувствовать глубокое отвращение к нему, а в какой-то мере и к самим себе — за то, что они вызвали такую реакцию, такой, назовем его по имени, павловский рефлекс.

Нет, никто в нашем мире не может стать исключением, и, когда мать, уже после смерти отца, расскажет, с кем и какие у нее были отношения, сын или дочь почувствуют глубокое отвращение к своим родителям, сначала к матери, а потом — после всего того, что порасскажет крестная мать, поскольку в семье всегда есть кто-нибудь, кто не может, хотя бы задним числом, не вытащить на свет божий такие вещи, о которых лучше было бы никому не знать. Словом, после всего, что ты услышишь от крестной, ты проникнешься отвращением и к отцу, и вообще к старикам, которые так жили. Больно тебе вовсе не потому, что мать и какой-то другой, чужой мужчина явились перед тобой в таком виде, в каком ты не хотела бы видеть и мать с отцом, а потому, что ты остро почувствовала: все, что тебя окружает, на самом деле — всего лишь кулисы. И летние поездки куда-нибудь на Балатон или даже к морю, и веселые дни рождения, и рождественские застолья — все это ложь, пыль в глаза, которой обманывают детей. Все твоё детство — не более чем какой-то дешевый театр, а настоящая жизнь проходит за кулисами, и там, в темноте, друг другу принадлежат другие, не те, что на сцене.

Узнав, что происходило в реальности, ты теперь уже видишь и на фотографиях натянутые, притвор-

ные улыбки, понимаешь, почему таким пустым и ничего не значащим был каждый семейный праздник, почему все разговоры шли о каких-то дурацких, бессмысленных вещах, например о том, что можно купить на дешевых распродажах, или о рецептах и приготовлении блюд, о шансах на победу участников проходящего в телевизоре конкурса «Мы ищем таланты». На самом же деле каждый, кроме детей, только и ждал, когда наконец закончатся эти кажущиеся счастливыми дни и начнутся нормальные будни, чтобы, ссылаясь на работу и другие важные занятия, люди могли встретиться с теми, кого они действительно любят.

Самым ненавистным оказалось Рождество, которое я всегда любила больше всего, любила уже подготовку к нему, тот месяц, когда в конце каждой недели зажигается новая свеча и взрослые читают детям всякие истории про маленького Иисуса, когда звучат песни, которые, исполняемые детскими голосами, в самом деле приносят какой-то свет в этот угрюмый месяц. Рождество — это, наверное, для взрослых самый ужасный праздник, ведь они, те, кто тайно друг друга любит, почти целую неделю друг друга не видят; более того, если Рождество переходит в Новый год, то получается даже две недели, и все это время нужно быть с теми, с кем они вообще не хотят быть, и мало ненавистного мужа или жены, так там еще толкутся родственники ненавистного мужа или жены, их родители, братья, сестры, и можно продолжать, дедушка с бабушкой, например, если они еще живы.

Трудно понять, почему человек делает такое, о чем заранее знает, что это обречено на провал. Что лежит в основе такого самообмана: простое следование чужим примерам или генетическая предраспо-

ложенность? Каким образом человек находит возможность убедить себя, что его случай будет иным, что можно сделать как-то по-другому, — хотя до сих пор этого еще никому не удалось, как никому не удастся и после. Спустя какое-то время мужчина или женщина произносят, пускай про себя, эту фразу: я видел (видела), что творится вокруг, но был уверен (была уверена), что можно и по-другому, что с нами такого не произойдет. Я верила в это, говорит женщина, как говорят все, как и она говорила когда-то. Она тоже хотела по-другому, тоже не желала той жизни, какой жили ее родители. Для нее это служило примером, которому не нужно следовать.

Отец был военным. Мать работала в двенадцатом почтовом отделении, на сортировке газет. Из дома она уходила еще до рассвета, спала очень мало, потому что отец, когда возвращался со службы, до поздней ночи скандалил. Он выбрал военную службу, считая, что там легче. Не хотел вкалывать на заводе, а тем более не хотел возвращаться в провинцию, откуда приехал в Будапешт, и опять втягиваться в крестьянскую жизнь. Но, похоже, лучше было бы все-таки вкалывать на заводе, жертвуя здоровьем, чем служить в армии, где ты вертишься под строгими взглядами начальства, головой отвечая за оружие, за всякие секретные разведывательные средства и все такое. Без спиртного тут никак нельзя было обойтись, да и начальники, они тоже выпивкой гасили постоянный стресс, нервное напряжение и страх перед более высоким начальством. Дочь очень боялась отца, от которого постоянно несло перегаром; боялась его и мать. Она не смела даже приласкать ребенка, когда видел отец, потому что он кричал, ты ребенка больше любишь, чем меня, и набрасывался на жену. Нет, мать осмеливалась любить дочку только глазами, а любовь глаза-

ми — это для маленького ребенка все равно что отсутствие любви. Дочь думала, сама себя стыдясь, что убьет отца и тогда мать будет ее любить. Нет, она тоже не хотела такого, такой семьи.

Я твердо была уверена, что можно по-другому. Каждый день кто-нибудь произносит эту фразу; и еще: я могла бы сделать то же самое, что муж, как выясняется, проделывал уже не раз, но я не хотела поступать так, как поступают все: едва сядут в понедельник утром в автобус, уже летит эсэмэска той женщине или тому мужчине, который также только что сел в автобус, — ну наконец-то прошли эти выходные, наступает наше время, и как же я по тебе скучал, как я тебя люблю, как ужасно жить без тебя. Я думала, что можно по-другому, говорит она и плачет. Пока ты действительно уверена, что живешь по-другому, ты говоришь подруге — если подруга сообщает тебе нечто подобное, — в общем, ты говоришь подруге и то и се. Да не принимай ты это близко к сердцу, отвечает подруга, с каждым бывает, от этого мир не перевернется. Конечно, подруга, которая произносит эту фразу, как раз именно так и пережила случившееся: мир для нее в какой-то момент перевернулся. Перевернулся тот мир, который она так заботливо обустроивала, мир с тортом на день рождения, с общими ужинами, с той обстоятельностью, с которой она выбирала одежду для ребенка, с той радостью, которая переполняла ее, когда она смотрела на семью: ведь это была ее семья. И с какого это времени, спрашивала другая подруга; они гуляли в парке Нормафа*, дул слабый ветер, но холодно не было, потом, когда надоест гулять, они

* Нормафа — природный парк на западной окраине Будапешта.

собирались выпить чаю на лыжной станции. Что значит, с какого времени? Когда я это заметила? Она называет какую-нибудь дату, и подруга тут же, даже не задумавшись, говорит: я его и раньше видела с одной женщиной, они заходили в лавку хозтоваров на Кольце, а в такую лавку с кем попало, с сослуживцами например, не заходят. Давно это было, спрашиваю я, и в ответ называется дата, которая была куда раньше, чем та, о которой говорил муж, потому что мужчины, когда изменяют жене, никогда не скажут честно, давно ли началось их любовное увлечение. Они до того привыкли врать, что, даже когда собираются сказать правду, все равно привирают, как минимум — в датах. Женщина, придя домой, говорит мужу, что подруга видела его тогда-то и тогда-то. Муж ничего не отрицает, только ругает жену, и вообще женщин, которые только и ждут, чтобы сделать какую-нибудь пакость своей подруге, — и, конечно, он не говорит, что так и было, мог бы он идти и с той женщиной, но именно тогда он действительно был в хозтоварах с сослуживицей, потому что в офисе все подошло к концу, и он думал, поможет донести.

Жена смотрит на рассерженного мужа, она даже не слышит, что он говорит, потому что вспоминает то время: Господи Боже, ведь как раз тогда была та поездка, и она была вне себя от счастья, что может увидеть такой необычный город, например Барселону, и она чуть не расплакалась, когда они гуляли в парке Гуэль, до того она была счастлива, что оказалась там, куда так всегда хотела попасть. Осталась и фотография. Они попросили одну молодую пару, чтобы те щелкнули их на фоне причудливых сооружений и скульптур, которые навывдумывал тот одержимый архитектор: цветная мозаика, клонящиеся туда-сюда деревья, вокруг них был словно не парк,

а какое-то живое существо. Пешком возвращаясь в город, они говорили о том, что наверняка эта молодая пара радуется, видя пожилых супругов, которые еще так любят друг друга, — они думали, что наверняка это бросилось им в глаза, пока они фотографировали. Они пришли в центр города, в путеводителе было написано, что там есть какой-то необычный рынок. Они купили странный фрукт, название которого так и не смогли запомнить, и много смеялись, потому что из фрукта брызнул красный сок, когда они стали его есть.

В том веселом, разноцветном городе все было таким веселым. Как странно думать о том, какой беззаботной была ее жизнь, пока она ничего не знала, а когда наступил тот миг, когда она узнала, все стремительно изменилось, все, что за минуту до этого было в абсолютном порядке, после одной-единственной фразы разрушилось в пух и прах.

Значит, уже та поездка, сказала она мужу, прошла под знаком этого, и ты не проветриться ушел ненадолго, мол, тебе нужно пройтись немного одному, ведь ты тоже должен отдохнуть, — а на самом деле ты звонил этой б... Она сама удивилась, произнеся это слово, обычно она ни о ком так не говорила, даже считала неуместным и смехотворным, когда такие слова звучали, например, в фильмах. Муж ничего не ответил, однако по лицу его она поняла, что, конечно, так оно и было. Полученная от подружки информация внесла некоторую точность относительно того, когда началась эта связь. Правда, это тоже могло быть не совсем точным, ведь подруга видела их не в тот момент — если вообще видела действительно их, — не в тот день, когда у них начались отношения, а, скорее всего, на несколько месяцев, а может, и на год позже. В первое время они еще очень следили, чтобы кто-нибудь их не увидел, но любовь

и в самый тайный период была точно такой же глубокой, как и позже, так что на самом деле какая-нибудь относительно давняя поездка, день рождения, годовщина свадьбы уже проходили под тем же знаком, только об этом нет свидетельств, а то, чего никто не видит, в действительности и не существует, разве что лишь как возможность среди многих других возможностей.

Женщине было необходимо — как было необходимо и мне, когда это случилось со мной, — рассказать обо всем подругам: не могла же она держать все в себе. Спустя несколько дней она встретилась с другой подругой и рассказала ей эту свою историю, начинающуюся словами: я думала, можно и по-другому. Эта подруга, правда, мужа ее не видела, но уверенно сказала: если это случилось, то есть что муж нашел себе пару, то нельзя его удерживать, ведь если та женщина — не то, что ему надо, он все равно вернется, а если то, его все равно не удержишь. Только четвертая подруга сказала, мол, все-таки надо что-то сделать, чтобы этот брак не разрушился окончательно, и что она очень любит их обоих, и наверняка еще можно поправить дело. Говорит она это потому, что убеждена: эта наша героиня все делает правильно, а если и неправильно, то постепенно исправит, и — видишь, насколько у них все хорошо с ее мужем. Хотя на самом деле это нельзя делать правильно или неправильно. Если тебя любят, ты все делаешь правильно, если же не любят, ты не можешь делать иначе, как только неправильно, и тогда даже правильно — все равно неправильно. Совсем ни к чему упрекать человека, мол, смотри, сколько всего ты испортила, когда могла бы сделать по-другому. Ни к чему это, напоследок еще и осуждать оставленную женщину: ведь все плохое вспоминается лишь потому, чтобы хотя бы немного успокоить угрызе-

ния совести у мужа, и, если он еще любит жену, он мог бы вспомнить столько же хорошего, а может, даже больше, но сейчас вспоминать хорошее — не в его интересах.

Я вступила на этот путь, потому что надо же начинать, если ты выбираешь эту дорогу в жизни, и начинать надо с тем, кто есть под рукой. Тут нет места всяким колебаниям, дескать, я повыбираю, подожду настоящего. Настоящего — такого нет, есть лишь тот, кто как раз есть. Хотя в тот момент никто так не думает, никто не может в двадцать с чем-то лет расценивать свою жизнь как нечто закономерное, как некую необходимость: ты можешь видеть в ней лишь что-то такое, что может происходить только и исключительно с тобой. И ты счастлива, что оно происходит, и уверена в том, что стоишь в начале не какого-то негативного процесса, но ровно наоборот, в начале процесса очень хорошего, потому что вещи становятся такими или этакими от того, как мы к ним относимся, потому что мы — да, мы способны изменять окружающий мир.

Те, кто не спешит двинуться по этому пути, кто говорит, что хочет найти настоящего, что не удовлетворится компромиссным решением, то есть таким мужчиной, чье достоинство лишь в том, что он в нужный момент оказался в нужном месте, — собственно говоря, делают это лишь потому, что не склонны принести свою свободу в жертву на алтарь супружества. Ибо убеждены, что подобное решение есть не что иное, как жертва. Громкие фразы насчет настоящего, единственного продиктованы на самом деле эгоизмом. Конечно, такие женщины где-нибудь в возрасте тридцати пяти лет в панике схватятся за первого же, ничего не подозревающего, просто оказавшегося поблизости мужчину, мол, любовь, и ког-

да мы с тобой, как необычно то, что между нами, и это совсем не то, что у других, и что на самом деле мир изменился, с тех пор как появился ты, и теперь стало цельным все, что до сих пор было в руинах, и каждая отдельная часть обрела свое место, и тебе теперь наверняка кажется, то, что я говорю, это такое девчоночье, но я в самом деле так чувствую, — говорят они тому стареющему тщеславному мужчине, который уж и не надеялся, что на нем остановится взгляд какой-нибудь женщины, тем более значительно моложе, чем жена. А ведь эти женщины всего лишь хотят ребенка, и они вышли из того возраста, чтобы выбирать кого-нибудь из одиноких мужчин. Для женщин этого возраста приличных одиноких мужчин уже не существует, а если встречаются, то и они примерно такие же. Так что остаются им те, кого уже приручили другие женщины, то есть — уставшие от супружества, со страхом ожидающие старости чужие мужья. Среди них и приходится кого-то высматривать, не думая о том, какое горе это может принести другой женщине, а может, еще и детям: женщины в это время уже в панике, что окончательно выйдут из возраста, когда у них пока есть биологическая возможность завести ребенка.

В то время, когда они могли еще выбирать, они никогда ничего такого не чувствовали, потому что были заняты выбором, ну и — самими собой. Им и в голову не приходило остановить свой выбор на человеке, о котором невозможно знать, не умрет ли он в корчме от алкогольного отравления или на рабочем месте, за письменным столом, перекладывая какие-нибудь идиотские папки. Нет, они дожидались, пока эти мужчины окончательно созреют, и тогда набрасывались на них. Их не интересовало, сколько энергии вложила в данного мужчину дру-

гая женщина, они не думали о том, что то, что они получают, это результат усилий другой женщины, а совсем не данного мужчины. Им нужен был готовый продукт, который мужчина, уставший от своего брака, со всем удовольствием им предоставляет.

Я — этого не хотела. Я хотела быть такой, как большинство других. Соответствовать тем ожиданиям, которым принято соответствовать. Он оказался там. И это оказалось неплохим выбором. И неправда, что это был компромисс, потому что тогда это выглядело не компромиссом, а чем-то таким, что полностью отвечает ожиданиям, — а если теперь это видится по-другому, то это не значит, что я тогда ошиблась. То, что мы видим сейчас, есть итог данного момента, а тогда было лишь: как я люблю тебя и как мне хорошо с тобой. Большого и не требовалось. Не нужно было слов, еще слов, и еще слов, потому что мы были там, на месте слов, сами, были вместе, всем телом и всей душой.

Мы начали, как начинали все наши друзья, хотя мы были первыми. А решения, которые принимали потом друзья, выглядели так, будто они скопировали наше решение. Это было приятное ощущение, потому что из-за этого наш пример выглядел так, словно он — настоящий, а другие — лишь подражания. Потом у нас, как и у наших друзей, в соответствии с ритмом выбранного нами жизненного пути, появились дети. Наша жизнь была точно такой, как жизнь любых других людей вокруг нас. Правда, мы не заметили одной детали: те, у кого жизнь была все же другой, мало-помалу отдалялись от нас. Если это была подруга, то компания, состоящая из супружеских пар, постепенно вытесняла ее: ведь ни одна жена не хочет, чтобы у них, в дружеском кругу, оставалась такая бомба замедленного действия, которая в лю-

бой момент может обратить на себя внимание кого-нибудь из мужей, чтобы после очередной супружеской ссоры предложить ему утешение, чтобы понимающе кивать, когда он начинает жаловаться на эгоизм жены, на пренебрежение, с которым она к нему относится, на то, что телесный контакт между ними выражается лишь в том, что утром они случайно сталкиваются друг с другом в ванной комнате, и что, конечно, она все получает, так как претендует на то, чтобы получать, а если ты ей скажешь, дескать, хоть бы сказала, спасибо, хорошо, что ты сделал это или то, тогда она отвечает, что ей ничего и не надо было, ты сам придумал, будто ей что-то нужно, и что это характеризует не ее, а скорее мужа, это он вечно хочет чего-то доказать, уж такова мужская натура. А ведь ты в самом деле очень здорово это сделал, говорит тогда мужчине эта подруга, если она случайно осталась в компании, — и что жена, ее подруга, понятия не имеет, какая она счастливая, что ей достался такой мужчина, как ты. Но этого же нельзя было предвидеть заранее. Потому что ведь ты не только все делаешь для семьи: про тебя никто не скажет, что с тобой скучно. Да таких незаурядных людей, как ты, не наберется и одного из шести сотен. И мужчина в этот момент чувствует: какая жалость, что он женился не на этой женщине, хотя в свое время ему приходила такая мысль, — и ведь тогда насколько бы удачнее сложилась его жизнь. В такой момент, само собой, мужчина перестает ругать жену и начинает расхваливать подругу. Результатом этих слов, естественно, становится телесный контакт, от которого в этом возрасте тебя еще не отделяют крепостные стены в метр толщиной. И этот телесный контакт — совсем не то, что мужчина в последнее время испытывал дома. Это не какое-то простое удовлетворение биологической потребности. Это

похоже на то, что происходит в порнофильмах, которые он украдкой смотрел в Интернете. Тут было все, и были вскрики, так что он даже испугался, не услышали бы их другие постояльцы в гостинице, где все произошло, ну и была такая активность со стороны дамы, с какой мужчина еще не встречался. Да, конечно, не обошлось без некоторой игры, но была и искренность, потому что дама долгое время не спала с мужчинами, и страсть, которую вдруг проявил мужчина, привела ее, неожиданно для нее самой, в непривычное возбуждение. Когда он спросил, ну как, хорошо было, она сказала: а ты не заметил? Само собой, заметил, пробормотал мужчина, а женщина добавила: даже три раза. Тут она немного лицемерила: на самом деле — только один раз; правда, когда мужчина остался в ней, тоже было приятно, но только и всего. Мужчина сделал вид, будто для него это — обычное дело, и у той, кто бывает с ним, случается минимум трижды, так что если бы не заканчивалось время, на которое снят номер, то случился бы еще и четвертый раз, а то и пятый.

Короче говоря, одиноких подруг замужние жены, которые в подобных делах были не настолько щепетильными, как я (у меня-то отвергнутых подруг не было, я любила слушать, что происходит в мире за пределами нашей жизни), — таких подруг жены быстро выживали из компании. Правда, прежде чем это сделать, несколько раз пробовали свести подругу с каким-нибудь хорошим знакомым, холостяком, так как были убеждены, что эти двое просто созданы друг для друга. Попытка, однако, не приносила результатов, потому что одинокие подруги тогда еще полагали, что они сами способны выбирать для себя партнера, причем по возможности в романтических обстоятельствах, а не так, что ты попала в какую-то компанию и там оказалось только двое

одиноких гостей, ты и тот мужчина, которого тебе хотят навязать.

Гости танцуют, уже и выпили что-то, и тут начинается какой-нибудь идиотский медленный танец, и мужчина, этот идиот, с каким-то неестественным юмором говорит, дескать, я вижу, мы тут с вами — готовая пара, и приглашает ее танцевать, и все время, пока звучит «I am sailing»* или что-нибудь другое, но тоже невероятно сентиментальное, рассказывает про свои капиталовложения. Несет какую-то лажу, мол, надо держать нос по ветру и вовремя ухватить момент, и тогда можно задешево приобрести большую партию тех бумаг, которые пока еще никому не нужны, и что он именно в этом деле профи, именно это он умеет. Подруга же говорит, извини, у меня дома собака, она уже старая, у нее диабет, в общем, нужно вовремя дать ей поесть, да еще инсулин, это в самом деле — серьезно, ни минуты свободного времени нет, но собака эта уже тринадцать лет со мной, даже не представляю, как можно жить и о ней не заботиться постоянно. Ага, говорит мужчина, так ты, значит, собачница, песня как раз подошла к тому месту, где «to be near you, to be free»**, — он знал, что есть женщины собачницы, а есть кошатницы. Да, отвечает она. Мужчина: ему лично всегда больше нравились собачницы, они совсем другие, потому и собачницы, они более человеческие, а не такие жеманные и капризные, как кошатницы. Подруга на секунду останавливается, смотрит на мужчину, она рада, этот мужчина знает то, что все знают: собачницы — они другие, но мужчина уже повернул

*«Я иду под парусом» (англ.) — песня британского певца Рода Стюарта.

**«Чтобы быть рядом с тобою, быть свободным» (англ.) — слова из той же песни.

тему: а вот у некоторых есть и собака, и кошка... И тут подруга говорит, не сердись, мне пора, и дверь за ней закрывается, и на какое-то время она исчезает из этой компании.

Позже, по прошествии нескольких лет, такие подруги часто возвращаются в компанию, но уже не как члены компании, а как близкие подруги жены, с которыми можно обсудить всякие там проблемы, а для этого необходимо встречаться по крайней мере раз в неделю, а иногда и чаще. Конечно, это — только алиби, потому что на самом деле в такие моменты жена встречается с очередным любовником, для этого ей и нужна бывшая подруга, которую, в свою очередь, устраивает такая ситуация: она надеется, что сейчас она сможет заполучить мужа подруги, который всегда ей нравился. Она уже думает, что в один из таких случаев договорится с ним о встрече, жены можно не опасаться, та как раз занимается сексом в съемной квартире, и подруга уже берет телефон, и тут вдруг до нее доходит: ведь тогда муж поймет, что его жена вовсе не с ней. С чувством разочарования она листает свой блокнот со списком мужчин, которые могут идти в расчет. Подумав с минуту, она выбирает второго в списке и посылает ему на первый взгляд ничего не значащую, но для мужчины, конечно, вполне понятную эсэмэску, вроде: ты как, в порядке? На это мужчина, который как раз дома один, жена ушла на репетицию хора, что очень хорошо, недостаток лишь в том, что время от времени приходится ходить на концерты, и тогда ужасно или посредственно исполненный Монтеверди или, не дай бог, хоровое исполнение народных песен выматывает твою нервную систему, но это все-таки дешевле, чем куча других занятий, например тренинг коммуникации, или психодрама, или танец живота,

не говоря уж о маниакальном шопинге. В общем, мужчина тут же ответил, мол, у меня есть два часа. А у тебя? У женщины тоже нашлось.

Одинокие мужчины сами покидают компанию. Они видят, женщины уже все при партнерах, да и разве можно это выдержать, разговоры вечно идут о всяких таких вещах, как детский сад, экскурсии, какую выбрать школу и до чего же удивительные способности у ребенка в разных видах спорта, или к искусству, или вообще. Кроха еще пешком под стол ходит, а уже видно, какой он одаренный, и одаренность эта отбрасывает свет и на родителей, ведь у кого попало не родится необычный ребенок. На эту тему у каждого из родителей находится что сказать, например как тренер или там учитель музыки похвалил их ребенка, выделил из всех прочих; потом, когда с этим закончили, не могут остановиться, рассказывая всякие забавные случаи о своих детях. Ну такая прелесть эти дети, говорят они, хлопая себя по коленям, и какое это великое дело быть родителями...

Мы действительно были вроде как члены какой-то секты, которые понимают друг друга по одному-единственному слову, по половине слова, а тем, кто этого языка не знает, среди нас не было места. Но кто мог бы всерьез возражать против такой ситуации. Вокруг детей вращается вся твоя жизнь, и обязательно нужно, чтобы ты услышал от другого, что с его ребенком было то-то и то-то и что следует делать, если, к примеру, у ребенка понос. И у кого какой опыт в связи с обязательным медосмотром или в вопросе выбора детского сада или школы. Это совсем не было скучным, особенно если учесть, что все эти разговоры велись о детишках, о которых разве что по недоброжелательству можно сказать,

что они такие же, как их родители, потому что они еще не стали такими. Те скверные качества, которыми щедро наделены родители, лишь когда-нибудь проявятся у детей, а пока об этом нет и речи. Никто не мог сказать, что это не настоящая жизнь, потому что она-то как раз и была настоящей. Каждая такая тема, о которой ты готов подумать, какая же это невероятная чушь, идет ли речь о торте в форме поезда или о зверях, которые, едва живые от долгой неволи, бродят, шатаясь, в клетках зоосада, — за каждой такой вещью стоит какой-нибудь смеющийся ребенок, который благодарен за то, что в мире существуют эти вещи и что он их может видеть.

Мужчины, несмотря на это, какое-то время еще приходили — правда, в основном ради выпивки. У семейных обычно скапливается огромное количество напитков: подаренные бутылки палинки из поездки в Трансильванию, вина и виски с именин и дней рождения. Семейные в это время еще не пьют так много, их время заполнено другими вещами. Затем, позже, разрыв становился все же неизбежным. Я знала, что нехорошо, если с нами нет людей, которые не во всем похожи на нас, к тому же эти люди ведь имеют самое непосредственное отношение к мужчине, с которым я живу, к его прежней жизни. Так что это для него нужно, чтобы они оставались, чтобы он мог говорить с ними на темы, которые занимали их в то время, когда еще не было семьи, — но не мог же он привязать их к себе. Дружба эта, сказал он однажды, похожа на тротуар, прокладывая который, рабочие украли чуть ли не весь асфальт, — тротуар такой мало-помалу рассыпается в пыль. Они нужны нам, говорила я ему. Он отвечал, что, при своей работе, не может поддерживать связь с двумя дружескими компаниями. Или семейные, или прочие, а поскольку он семейный, то прочие не-

избежно отсеиваются. Я говорила ему, что он мог бы что-то сделать для них, я хотела, чтобы он это сделал, но знала, что, собственно говоря, совсем не из-за него эти люди отделились от нас, а потому, что мужчины, у которых нет семьи, неспособны, даже под выпивку, выносить семейную жизнь других и неизбежные при этом правила, касающиеся порядка и тишины. Еще не хватало нам из-за какого-то там придурка делать то и не делать это, говорили они, когда, уйдя из гостей, усаживались в корчме. Чтобы они меня с дерьмом смешивали, когда я поставил бокал с виски на стол и ребенок из него отпил... Словом, общие темы постепенно сходили на нет: ведь с семейными случается совсем не то, что с холостяками. Мужчины, которые заходят на женский рынок, не могут даже представить себе, как это можно из месяца в месяц, из года в год спать с одной и той же женщиной. Семейные же, узнавая о новых победах приятеля, укрываются за моральными бастонами: насколько-де это безвкусно — так менять женщин и ни за одну из них не чувствовать никакой ответственности, и до чего же это низко — обещать женщине то и се, плести всякие небылицы о любви, тогда как цель всего лишь одна — переспать. И в этом была доля истины. Многие женщины становились и становятся жертвами какого-нибудь, совсем не думающего о женитьбе мужчины, отдают ему свои лучшие годы, полагая, что уж им-то удастся его приручить, а когда обнаруживают, что ничего не вышло, обычно бывает уже поздно.

Спустя какое-то время с нами остались только те, кто похож на нас. Каждый был таким же, как мы. Они делали точно то же, что мы, мучились с теми же проблемами. С ними было легко: общая жизненная ситуация создает основу для взаимопонимания.

Не важно, кто где работал, какой у него был характер, — мы находились в одной лодке. Общие походы на природу, летний отдых, семейные праздники. Сцеживание молока, с этого начиналось, потом — детская коляска, памперсы, морковное пюре, понос, прививки, детский сад, Микулаш*, школа, кукольный театр, музыкальная школа, лыжные тренировки, училка, обучение плаванию, Пасха, Рождество, день рождения, торт, подарки, логопед, детские болезни, брекеты, кто делает лучше, каждый делает лучше, каждый делает хуже, бабушка, дедушка, соревнование по декламации, другая школа, готовка, дедуля болен, дедуля умер. Будет со мной моя постелька в раю? Не будет она с тобой в раю.

Когда появились дети, в нашу жизнь опять просочились и родители. Они появлялись на семейных мероприятиях, становясь обязательными участниками такого рода встреч. Их смех был частью общего смеха, когда распаковывали подарки и в пакетах было именно то, о чем они так мечтали. Родители спрашивали, когда и что мы делаем, брали календарь и отмечали в нем, когда мы дома, когда куда-нибудь уезжаем, помечали дни, которые они будут проводить с детьми. Они попадали в годовой семейный ежедневник. Они находили возможность дать знать, когда согласны с тем, что мы делаем, а когда думали, что надо бы по-другому, как следовало бы одевать детей, какие же мы безответственные, когда... И тут следовали фразы, которые я слышала еще ребенком; было время, когда от этих фраз я готова была взорваться, но сейчас — нет.

Я не чувствовала, что эти фразы надо исключить из нашей жизни, — такие они были привыч-

*Микулаш — венгерское имя Санта-Клауса.

ные. Я не задумывалась, как это получается, что с помощью этих фраз они проникают в нашу жизнь так глубоко, что их присутствие становится уже деструктивным. Я рада была, что они есть. Я сама этого хотела. Нужно, чтобы у ребенка были бабушка и дедушка, и у наших детей они были, потому что достигли преклонного возраста и при этом оставались в расцвете сил. Невозможно было даже подумать, что этому, мне все еще кажущемуся пугающим расцвету сил настанет тот же конец, что и всякому расцвету, — что он перестанет быть. Да и откуда это можно было знать? А особенно — когда.

Кроме всего прочего, была и реальная необходимость в том, чтобы время от времени они присматривали за детьми. На родителей мужа нельзя было рассчитывать. Отец задолго до этого был вычеркнут из семьи. Случилось то, что сын его столько раз себе представлял, но сделать до того момента не смел. Во время очередной ссоры в руке у него оказался кухонный нож. Хлеб ему не отрезали: когда он хотел есть, он сам должен был его отрезать, а сейчас ему как раз хотелось есть. Подростки, особенно мальчики, всегда хотят есть. Отец ударил мать, и сын внезапно рванулся от хлеба к дерущимся родителям и совершил то, о чем потом, на судебном заседании, адвокат сказал, что это был поступок, совершенный в состоянии аффекта, то есть мальчик, собственно, в тот момент был не в своем уме. Хотя он собирался это сделать уже много лет: правда, пока это не случилось, он сам не думал, что сделает. Его оправдали. Он же был ребенок. Он вернулся в школу и помалкивал о том, что произошло. Делал вид, будто ничего не было, хотя я не думаю, что подобное можно стереть из памяти навсегда, что в мозгу есть такая защитная функция. Сыну повезло, отец не умер, но ушел из семьи, и теперь неизвестно даже, жив ли он.

Мать же, ну, она не в таком состоянии, чтобы справиться с двумя внуками. Она и к своему-то ребенку никак не относилась, хотя отца уже не было с ними: из-за ежедневного страха и бесконечных обид она разучилась любить кого бы то ни было.

В общем, оставались мои родители, чтобы была возможность всем вместе, с мужем и с ними, провести всей семьей какой-нибудь праздничный вечер и обогатить наши отношения новыми нюансами. Нельзя же все время жить по отдельности: я — с детьми, он — в своей работе, а когда мы вместе, то и тогда над нами висит одна забота, нужно заниматься детьми, и ничто постороннее в нашу жизнь не просачивается, разве что через детей, ну и еще из телевизора, хотя его мы чаще всего и смотреть-то не успевали. Ведь нельзя совершать ту же ошибку, которую совершили мои родители: для них ребенок был единственным элементом, скрепляющим их брак, а когда ребенок ушел, осталась пустота, они понятия не имели, что делать друг с другом, они уже много лет даже по имени друг друга не называли, только: отец да мать.

Доходы у нас были минимальные: он — молодой научный работник, я — мамочка, сначала в декрете, потом учительница в средней школе, ну какие тут доходы! Так что на постороннюю помощь рассчитывать было нельзя, да и зачем, если тут, бесплатно, дедушка и бабушка. По крайней мере, станут прочнее отношения с внуками, они уже с младенчества поймут, что нужно считаться и с другими, а не только со своими родителями. Я думала, когда дети с ними, то должны подчиняться правилам, которые устанавливает старшее поколение. Родители ожидают от нас то, что хотят получить, а взамен принимают то, чего хотим мы, и не суют нос в воспитание детей, дескать, я, когда ты была маленькая, делала

по-другому, — потому что результатом этого «по-другому» как раз и стал тот неистребимый страх, который по сегодняшний день сидит во мне и жертвой которого в какой-то мере оказалась моя жизнь.

Они были нужны нам, и этот факт заставлял тебя забыть, где ты обозначила границы в начале совместной жизни: вроде того, что вы можете вмешиваться в нашу жизнь только от сих и до сих, или: о муже моем — или хорошее, или ни слова, иначе мы годами не будем встречаться. Потому что это обозначение границ вообще-то произошло, и родители мои его приняли. И с этого момента вели себя дипломатично и терпеливо ждали момента, когда наконец снова почувствуют себя достаточно уверенно, чтобы ощутимо вредить нам. До тех пор они разве что исподволь подрывали наши отношения, вслух же воздерживались от каких-либо неодобрительных замечаний, больше помалкивали, собирая силы для ответного удара. А что еще им оставалось?

Они выжидали, поскольку не могли смириться с тем, что жизнь вертится не вокруг них. На работе, где они до какого-то момента казались незаменимыми, их поблагодарили за долгую самоотверженную работу, устроили небольшое застолье, вручили подарок, красивую вазу, фарфоровую, то ли Херенд, то ли Жолнай, которая долго будет напоминать им о том, насколько значительными они были когда-то, а потом, вместе с этими воспоминаниями, отправили на пенсию. Конечно, при этом сказали, что всегда будут на них рассчитывать, не должен же пропадать впустую такой кладезь накопленных знаний и опыта. Но скоро выяснилось, что нет, они скорее только мешают; когда они раза два пришли утром на бывшую службу, причем без всякого вознаграждения, если не считать кофе и стакана или двух ми-

нералки, когда было очень жарко, — молодые коллеги едва дождались, пока они наконец уйдут, потому что говорили они ужасно медленно, к тому же каждое свое замечание пытались подкрепить какой-нибудь старой историей. И тщетно молодые коллеги вставляли, мол, конечно, мы все понимаем, дядя Лаци, если считали возможным так называть гостя, — история все не кончалась, потому что гость лишь тогда чувствовал себя хорошо, когда высказывал все приготовленные заранее фразы. В конце концов они и сами убедились, что новые технические средства, да и обновленные старые не оставляют им возможности реально делать какую-нибудь работу, так что больше они туда не пошли. Даже их знание иностранного языка устарело, потому что в переписке по Интернету те обороты, которыми они когда-то пользовались, теперь выглядели смешными, коллеги говорили, мол, бросьте вы возиться с этими вежливыми обращениями, с изысканными способами начинать и завершать письмо, это теперь никого не интересует, мир стал куда быстрее. Пока мы ломаем голову, какой оборот в данном случае более подходит, *best regards* или *best wishes**, конкуренты нас сто раз обгонят. Вполне достаточно *hello*, а в конце — *thanks***. Получив от молодых коллег такой щелчок по носу, упрятанный в вежливое пояснение, они навсегда покинули прежнее место работы и с этого времени, встречаясь с друзьями, каждый раз многословно рассуждали, как теряют вес в нынешнем мире бывшие ценности, о которых, конечно, сами они никогда не могли точно сказать, что же это, собственно, такое. И выстраивали целую систему воззрений, объясняя, насколько очевидна про-

*С уважением; с наилучшими пожеланиями (англ.).

**Привет; спасибо (англ.).

пасть между нынешней испорченной жизнью и той, полной героизма и самоотверженности, которая была принята в их молодые годы. Чем больше они отдалялись от окружающего мира, чем меньше понимали, как он живет, тем прекраснее казалась им их молодость и тем мрачнее и невежественнее — то состояние, в котором находится нынешнее человечество. Как в любом стареющем поколении — так было испокон веков, — у них формировалось чувство превосходства, которое возвышает их жизнь над жизнями, протекающими сейчас. И в этом чувстве главным было не что иное, как ощущение своей несовместимости с миром, ощущение, которое, собственно говоря, исчезнет только со смертью, когда эти старики уйдут, чтобы дать место другим, мыслящим подобным же образом старикам, которые, разумеется, когда-то дали обет, что уж они-то будут совершенно другими, будут соответствовать эпохе, а не возрасту, но закономерный процесс и их превращает в пророков, угрюмо вещающих о всеобщем измельчании, вырождении, о гибели, к которой неостановимо катится мир.

Так что у родителей не оставалось другой сферы для того, чтобы ощущать свою власть, реализовать свое упрямое желание жить, — кроме детей. И когда родились внуки, присутствие старшего поколения, подобно некой сырости, снова стало пропитывать нашу жизнь, чтобы своей остаточной энергией испортить то, что можно испортить. Конечно, ты никогда не сможешь считать своих родителей каким-то фактором, который существует для того, чтобы разрушать твою жизнь. Все эти вещи, пока они происходят, вообще не бросаются в глаза; это скорее похоже на какую-нибудь тайную болезнь: она мало-помалу распространяется по всему организму,

и когда очередное обследование обнаружит ее присутствие... Точнее, обнаружит что-то совсем другое, скажем, непроходимость кишок, поэтому тебя пошлют сделать УЗИ, и тут врач просто не может не бросить взгляд на внутренние органы — и тогда замечает изменения, например, в надпочечнике, и говорит, что не мешает посмотреть это немного почечке. При более детальном исследовании выясняется, что опухоль проросла в вену и больные клетки попали в кровообращение, разнося болезнь по всему телу, они везде, так что, собственно говоря, и операцию делать уже ни к чему. Ладно, разрежут, если вы так хотите, но лишь для того, чтобы больной поверил: что-то было сделано для его выздоровления.

Лишь гораздо позже мне стало ясно, что происходит. Собственно говоря, они не делали ничего особенного, только избегали говорить что-нибудь хорошее обо мне, о нашей жизни. Нет, не прямо: они бы сказали, если бы я спросила, мол, почему это так, дескать, уж такие они люди, не любят никого хвалить, их тоже хвалить не надо, да и зачем лишний раз говорить что-то хорошее о том, что, конечно, и так видно, что хорошее. Ты даже сама не знаешь, как глубоко сидит в тебе ожидание, чтобы родители тебя в чем-то одобрили, поддержали. И в их присутствии ожидание этого одобрения становилось еще сильнее. Можно подумать, что жизнь нашу разрушают шумные, яростные ссоры, — а ведь ничего подобного. Достаточно того, что за общим обедом родители не произнесут ни одного доброго слова насчет этого обеда, ну может, что-нибудь в таком роде: да, вкусные галушки, но я немного гуще тесто замешиваю; или: очень вкусный этот шоколадный торт, но я кладу в него еще кусочки фруктов, от этого он становится легче и свежее, это некоторую кислинку ему придает. И если на следующий раз в торте ока-

жуются кусочки фруктов, то или речь вообще не зайдет о торте, или только, дескать, смотри-ка, хорошо увлажнили фрукты тесто.

Мне следовало бы их останавливать, когда я подобное замечала, но я этого не замечала, потому что тогда во всем руководствовалась принципом «для семьи так лучше». Я и сама видела лишь то, что видела: так лучше для детей. Я не думала о том, что нужно считаться и с волей родителей, с их временем. О том, есть ли у них время что-нибудь сделать, куда-нибудь отвести детей, обычно, например, несколько раз в неделю на тренировку, и есть ли у них для этого настроение. Я ведь и сама отказалась от своей воли ради воли общей, но тогда это и для них — дело обязательное, думала я. И считала не обязательным заниматься еще и ими: ведь все мы занимались детьми, о чем тут можно еще говорить.

Ну и было тогда еще кое-что: после декрета мне пришлось вернуться в школу, при двух детях снова работать учительницей. Я едва с этим справлялась. Биология и химия — честное слово, это не те предметы, ради которых подростки обо всем готовы забыть; ну и, конечно, масса подготовительной работы к каждому уроку, не только план урока, но еще и подобрать в кабинете всякие реактивы, оборудование. Честное слово, к вечеру я была трупом. А тут еще и директор не упускал случая поприусловствовать на моих уроках. Пятидесятилетний мужчина, совершенно непригодный для руководящей работы, — никак не могла уразуметь, почему его выбрали директором. Конечно, решение — в руках начальства, тогда наверняка у власти была та партия, у которой он был на хорошем счету, в отличие от другого кандидата, которого предпочел бы преподавательский коллектив, но это так и не удалось пробить: то ли у нашего кандидата не было связей в партии,

то ли та партия, в которой у него были связи, представляла собой меньшинство на районной конференции. Тогда как раз это уже началось: никого не интересовала профессиональная зрелость, если за ней не было солидной партийной поддержки. Так что директором стал этот, потому что у него-то поддержка была.

Он ничего не говорил, просто подходил ко мне в коридоре, а когда я открывала дверь класса, говорил, ну что ж, и здесь произносил мое имя, конечно, в уменьшительной форме, в какой никто свое имя не хочет слышать, потому что никто не хочет быть Габиной, или Ицукон, или Эржикой, — я бы зашел на твой урок, интересно, как идет работа, когда человека после декрета бросают в глубокую воду, — входил и усаживался. Я же весь урок была в напряжении, до декрета я проработала едва пару лет и за пять лет, проведенных дома, почти все забыла, но главное, утратила уверенность в себе, в том, что могу удерживать внимание тридцати детишек. Директора это, по всей видимости, не интересовало, он просто приходил на мои уроки, как на дежурство.

Я не понимала, зачем он это делает, почему не скажет прямо, что хочет от меня избавиться, что есть на эту должность у него один хороший знакомый, а я чтобы искала другую школу. Лишь потом коллеги мне сказали, такой у него способ стать поближе к молодым учительницам, будь уверена, есть, кто это сразу понимает и делает то, что нужно директору. И вы тоже, спросила я; они были года на два на три старше меня, но молчали, складывая то, что нужно было для урока. Никто не любит говорить о той униженности и зависимости, которые еще и сегодня почти неизбежно становятся уделом женщин на службе. Ты, чаще всего как-то незаметно, оказываешься в роли «Моника, вы не принесли бы нам

кофе?», а там и недалеко до объекта вынужденных сексуальных услуг. И конечно, все это за более низкую, чем у коллег мужчин, зарплату; а если зарплата даже и одинакова, потому что по закону отношение к мужчинам и женщинам не может быть разным, — то мужчины наверняка получают освобождение от каких-нибудь обязанностей, избавляются от лишних уроков, причем по формальным, пустяковым причинам, например они составляют расписание или достают для школы театральные билеты.

К счастью, как раз вышла из декрета еще одна учительница, она преподавала венгерский язык и литературу, слишком много читала, и в самом деле могла поверить, что, благодаря сберегаемой для нее на протяжении нескольких лет должности, не просто получила работу, но одновременно — и любовь. Что это — такое возвращение, в котором к зарплате, вроде талона на питание, добавляют еще и чувство. Директор тут же переключился на нее — и переключился надолго, судя по тому, что в школе после этого долго не появлялась какая-нибудь новенькая или, скажем, вернувшаяся из декрета коллега. Учительница венгерского поверила было, тем более что связь эта насчитывала уже годы, что директор — это окончательный вариант, что она постепенно расстанется с мужем, выходить за которого, особенно если принять во внимание отношение директора, было вопиющей ошибкой, хотя ошибку эту породила, по всей вероятности, безысходность. Достаточно заглянуть в статистику, и сразу видно, что среди специалистов с высшим образованием женщин гораздо больше, чем мужчин, а потому часть этих женщин вынуждена — это сказали в какой-то радиопередаче, я услышала, потому что как раз готовила обед, — вынуждена выбирать мужчину более низкого качества. Ну да, по радио выразились не

совсем так, там сказали: мужчину с более низким уровнем образования. С этой учительницей именно так и вышло. Она ведь думала, директор будет окончательным решением, она расстанется с мужем такелажником, который на своем автокаре целыми днями катается меж грузовыми платформами за почти нищенскую плату. И в самом деле, почти все так и произошло, да вот только на неожиданно освободившуюся ставку пришла молодая коллега. Директор колебался недолго: он совсем забыл, сколько лет потратила училка венгерского на эту связь и что она даже мужу успела сказать, что у нее есть кто-то на работе. Можно представить, как с тех пор жил ее муж: с такой обидой на сердце даже автокар водить нелегко. Словом, директор приклеился к этой молодой коллеге. Ее специальность была — вычислительная техника; ей не доставало той эмоциональности, какой отличалась учительница венгерского, но возраст и физические данные все это компенсировали с лихвой.

Работа отнимала у меня все силы. Тут еще и норму учебных часов увеличили, все больше проводили всяких совещаний, мы получали задание придумать для детей внеклассные культурные программы: театр, выставки, экскурсии, — и все это без оплаты, как приложение к классному руководству. Об этом и родителям сообщили, мол, школа может давать плюс то-то и то-то, а родители, они такие: если что-то однажды объявили, для них это естественно, и они хотят еще больше. На родительских собраниях или на встречах с ними невозможно было справиться, вечно они требовали еще чего-то, иначе детей заберут из школы. Ругали математичку, будто она виновата, что среди детей так много не понимающих математику. Ведь родители, они своих детей

считают куда более способными, чем они есть на самом деле, и все более нагтели, действуя так, как с любыми другими поставщиками услуг, то есть твердо: мы заказали такой-то и такой-то ассортимент по таким-то тарифам с такими-то льготами, — а родители, понятное дело, заказали в школе прекрасно успевающего ребенка, и им невозможно объяснить, что подобный заказ надо оформлять куда раньше, причем в более высоком, чем школа, офисе, скажем, в акте творения.

Вот что постоянно происходило в школе; ну и, конечно, вечные склоки, некоторые коллеги занимались ими со всей страстью, надеясь добиться повышения жалованья и снижения количества уроков. А когда я приходила домой, тут были дети: наконец-то они дома после детского сада, потом — после школы, наконец-то могут увидеть мамочку. И невозможно было им объяснить, что у мамочки нет времени, еще и ужин надо приготовить, и ужин не должен быть холодным, ну и еще вечерняя сказка про всяких идиотских зверюшек. На удивление дурацкие сказки печатали тогда издательства, но все равно мне приходилось их читать или пересказывать, и я читала или пересказывала, иногда механически, не обращая внимания на точный текст. А если где-нибудь ошибалась и говорила, мол, «и тут волк», то кто-нибудь из них поправлял: «и тогда волк». Они все эти сказки знали наизусть, и все равно снова и снова хотели слушать и переживать. Не хотели какую-нибудь новую сказку, хотели всегда одни и те же, две или три, в этом для них была гарантия стабильности и уверенности. Они ложились рядом со мной, один прижимался ко мне с одной стороны, второй — с другой, я смотрела на их мордашки, как они, прижавшись к моим плечам, осоловело глядели в пространство комнаты, в полумрак за преде-

лами круга света настольной лампы. На них словно написано было: как хорошо, что я живу, как хорошо, что есть у меня мамочка, папа и эта постель, в которую мы потом уляжемся, когда сказка кончится. Куда исчезает потом эта радость, думала я — и читала дальше.

Не знаю, почему издательства печатают такие плохие сказки и куда пропали книги сказок, которые были в моем детстве. В этих книжках лишь изредка, в каких-то исключительных случаях встречались цветные картинки, и это было такое счастье, когда ты натыкалась на эти страницы, а так все действительно оставалось сказкой. То есть длинной, длинной историей, которая никогда не заканчивалась, словно ты спишь и во сне кто-то рассказывает ее дальше и дальше. А внутри тебя в это время каким-то образом проецировались картинки, там были люди в яркой цветной одежде, которые нарисованы в книге, там бродила и я, одетая персидской княжной, среди сверкающих, непонятных предметов восточного базара, я разглядывала купцов, как они торгуются с покупателями, и ждала, когда же появится в узком переулке рыцарь, одетый в кафтан из золотой парчи.

Наверняка издательства исходили из каких-то своих экономических интересов. Не знаю. А может, эти сказки только мне казались плохими, потому что в голове у меня все крутилась и крутилась мысль: мне еще гладить, и загрузить стиральную машину, и еще ждет куча тетрадей, которые надо проверить. И конечно, я знала еще: он ждет, чтобы наконец для меня был только он. Но как мог во всем этом уместиться еще кто-нибудь? Тем более так часто, как ему хотелось? Было поздно, или я чувствовала, что поздно. Я шла чистить зубы. Заснул он

уже? Или еще ждет меня, и из-за слишком долгого ожидания нервно обнимет, когда я заберусь под одеяло. Не понимаю даже, откуда у него было столько энергии, чтобы хотеть меня и обижаться, если я скажу «нет», потому что сегодня в самом деле — ну никак.

Сколько раз я говорила «нет», когда он приближался ко мне? Меньше, чем ему кажется. Гораздо меньше. И неправда, что мне этого не было нужно. Если бы он не хотел, то я начинала бы сама. Я бы не вынесла, что между нами нет того, что должно быть между мужчиной и женщиной. Но он не мог дожидаться момента, когда я захочу, — хотя ведь это тоже хорошо. Хорошо, когда женщина может дать понять, что сейчас дело начнется по ее инициативе. Но так не получалось. Если бы я хотела, я бы сказала, говорила я, но он не верил.

Он говорил, что этих моих «нет» явно больше. Но кто способен помнить такое! У нас не раз случалось так, как у других, у кого практически почти не бывает или вообще не бывает ничего. Соотношение «да» и «нет» он не считал достаточным объяснением, он помнил лишь, что было мало, ему было слишком мало, и что я не могу представить себе, как это ужасно, когда ему хочется, а он не может, потому что я не уступаю. Что там все есть для того, чего ему хочется, и в самом деле там все было, причем для этого точно не нужно ничего, только мы двое, — и все-таки: ничего. И те времена, когда это должно было происходить, уже не вернешь. У него осталось лишь неприятное воспоминание, что он хотел, а я вроде говорю неправду, что во мне такого воспоминания нет.

Все же это было. Я ложусь, он прижимается ко мне, тело его наваливается на меня, я едва могу дышать, я чувствую, это не то, ведь мне должно быть

так хорошо, а — ничего нет. Я чувствую, мне не хватает воздуха, я хочу ему отвечать всем, чем можно, и ничем не могу, он же стискивает меня, прижимает к себе, потому что в этот момент он лишь через меня может ощущать мир, запах мира, а я пытаюсь высвободиться из-под его веса, освободиться от ощущения, что кто-то забирает у меня воздух, от ощущения, что кто-то проникает в мое тело. Чем сильнее я вырывалась, тем крепче он меня держал. Он требовал того, чего требовать — невозможно.

Я не заметила, что дела плохи, потому что ничего плохого вроде не происходило. Теперь, конечно, легко говорить, что это можно было заметить по нему, — но в том-то и дело, что ничего заметно не было. Сказать об этом он не смел — во всяком случае, так, чтобы я поняла, и сделать ничего не смел, даже не мог убрать ладонь, которой отец, когда я была маленькая, загораживал мне экран телевизора, эта ладонь так и осталась там, не знаю почему. Какие-то барьеры остались во мне, они не дали вылиться тому, что должно было затопить мое тело. Он не посмел рисковать, боялся, что потеряет даже ту малую любовь, которая, он это понимал, была во мне, — как потерял любовь матери. Его страшило, что я тоже потеряюсь для него. Потому он и позволял быть тому, что было. Я же не видела в этом ничего особенно плохого, я видела лишь, что мы любим друг друга, и мне все еще казалось, что у нас может быть по-другому.

Но ты же никак не показывала этого, сказал он; хотя я показывала. В воскресенье я что-то пекла. В воздухе плавал запах ванильного сахара. Сквозь этот ароматный воздух я смотрела на него, и он тоже смотрел и говорил, что дети будут очень рады. А ты — нет, спросила я. Я тоже, сказал он, но этого

он не помнил, он сказал «да», и это было хорошо, но этого хорошего оказалось мало по сравнению с плохим...

Я уже не могла слушать про это: плохое, плохое, и — насчет соотношения, то есть как мало было хорошего по отношению к этому плохому. Не может такого быть. Если бы было так, никто бы этого не вынес. И еще он сказал: в конце концов он увидел, что перед ним — какая-то огромная стена, с башнями, с зубцами, целая крепость, а в крепости восседают мои родители и я, а потом я забрала туда и детей, а он даже не пытался одолеть эту стену, боялся, что упадет и разобьется об острые камни или выстрелят укрытые меж зубцами пушки, и снаряды разорвут в клочья его тело, его душу. Он топтался под стенами и, наверно, кричал, как турок кричал под стенами Эгерской крепости, эй, слышишь меня, венгерский витязь. Он говорит, что кричал, просил, чтобы я впустила его, а я даже к зубцам башни не вышла, как Гергей Борнемиса и Иштван Добо*, и сердце мое не разорвалось, как у того витязя на башне, когда он услышал, как турки кричат: тут у нас в заложниках венгерский мальчик. Ты даже в ту сторону не глянула, сказал он, даже не любопытствовала, кто это там, под стенами, жалуется на свою несчастную судьбу.

Да нет, я не слышала, сказала я, и напрасно он так говорит, потому что все обстояло совсем по-другому. Мы всегда видим в прошлом то, что хотим видеть — в свете настоящего. Ведь тогда, когда протекало это прошлое, с ним было все в порядке, во всяком случае, ничего такого я по нему не виде-

*Исторические персонажи, участвовавшие в героической обороне крепости Эгер от турок. Перипетии этого события описывает Геза Гардони в романе «Звезды Эгера».

ла. Потому и не видела, сказал он, что его самого не было видно, — вот так и в научной работе, которой он занимается: видно только то, что исследователь изучает. Такова современная физика: то, за чем не следят или чего не замечают, того нет, тот мир не существует, как и тот человек. И он тоже как бы не существовал, не было в поле зрения такого человека, не было воли, которую мы должны принимать во внимание или которой сопротивляться. Вот и его волю никто ни принимал, ни отвергал, потому что ее не замечали. Он был только одним из компонентов в этой конфигурации, сказал он, в этой общественной ячейке, которую так высоко ценят в европейских обществах, в ячейке, которую я определяла в соответствии с его функцией (отец).

Как же это можно выдержать, спросила я; мы сидели, кажется, в комнате, по телевизору как раз шла реклама. Ну там же были эти... мелкие, сказал он. Что еще за мелкие, не поняла я. Ну, эти, продолжал он, дети наши. Они его так любили, так обожали, всем существом, не за что-нибудь, а просто так, что это помогало ему забыть о том, чего ему не хватало. Но время шло, и эмоциональная сеть, действующая на таком подсознательном уровне, распалась, исчезла. По мере того как дети росли, их эмоции устремлялись в других направлениях, и тогда то, чего не хватало, поразило его такой болью, что нужно было что-то делать. Но ведь чувства остаются, они только меняются, сказала я. Сейчас их можно любить по-другому, но можно же, и даже нужно. Да люблю я их, сказал он, только чувство это уже не может компенсировать — как я ненавидела это слово! — то, чего мне не хватает, именно потому не может, что оно другое. Фильм продолжался.

Так ли оно все было — кто может сегодня сказать? Кто может сказать, что мужчины, которые, сле-

дую каким-то своим биологическим особенностям, а в определенной мере и по социологическим причинам, потому что увеличилось количество одиноких женщин тридцати с лишним лет, снова могут начать жизнь, пускай в пятидесяти- или шестидесятилетнем возрасте, — так вот, не готовы ли они покинуть даже самую полную любви обстановку, чтобы доказать, что все еще могут быть необходимыми. Их сексуальная энергия еще может служить фундаментом для строительства целых царств, они — не беззубые львы, которые, забившись в дальний уголок саванны, ждут молодых самцов, которые бросят и им какую-нибудь кость. Кто может это сказать?

Прошлое он осмыслял в свете сегодняшней ситуации, то есть видел только ее негативные краски, — по той простой причине, конечно, что тем самым мог обосновать, для себя самого, возникновение новой связи. Напрасно я говорила ему: ты разве не помнишь, было и у нас такое, и как прекрасно это было, не важно что, летний отпуск, общее путешествие, сколько мы смеялись тогда, я напоминала ему, как мы валялись на берегу моря, как он нырял с детьми, он и сам вел себя, как ребенок. Ответ на это, вновь и вновь, был один: в пропорциях все это — пустяки по сравнению с тем, какие утраты он понес. Например, вечером, сказал он, в тот самый день, он прекрасно помнит, как они прыгали в воду ласточкой, и он думал, что это и есть счастье, — и наступил вечер, и ему пришлось пережить отказ. И что это — его главное несчастье... Собственно говоря, он мог быть почти счастливым, ведь все, что зависело от него, все это было, не хватало лишь немногого, что должен был бы добавить другой, то есть я. А он — не такой, чтобы из-за красивого пейзажа или потому, что можно купаться хоть трижды в день и солнце шпарит вовсю, — чтобы он поэтому

мог бы забыть, что в жизни ему не хватает чего-то очень важного.

Позже выяснилось — но теперь-то уже все равно, — то, чего ему не хватало, это была не я: не хватало ему чего-то совсем другого, а чтобы я отвечала за это, было крайне несправедливо с его стороны. Нельзя же дать однозначный ответ, кто кого в какой мере любил. Потому что невозможно любить так, как он хотел, то есть все время, беспрерывно и одинаково. А любить не так — вообще не стоит, сказал он, потому что это уже ничто, ведь тут нет как раз сути, и привел какой-то пример насчет атомов: если в них нет чего-то, то они не тождественны самим себе. Но дело в том, что мне нужен был он, и он был, это точно, он же нуждался в ком-то другом, вот что меня убивало: ведь я-то могла быть лишь такой, какая я есть.

Я постараюсь что-нибудь изменить, сказала я ему, когда и мне стало ясно, что нас уже не двое и что весь поток жалоб, который из него изливался, служил обоснованием этой связи на стороне. Но мне было важно, чтобы он оставался. Я готова что-нибудь изменить — и я перечислила, что и в какой мере. Я по-другому буду смотреть на него, по-другому буду говорить, по-другому стану к нему прижиматься, по-другому буду воспринимать его волю — как важную и не подлежащую обсуждению. Если бы я сказала, уходи, может, было бы лучше, но я не могла так сказать, ведь я любила его. Я чувствовала к нему именно то, чего ему не хватало, чего он во мне не чувствовал. И ощущение это постоянно было во мне.

Для себя он, конечно, объяснял мое решение экономическими и биологическими причинами. Дескать, я хочу сохранить прежний уровень жизни, так он думал, а потом и говорил, уровень, который

был до сих пор, и я-де не верю, что способна сама себя обеспечивать, он так и сказал, или начать новые отношения. Я-де однозначно достигла того возраста, когда женщина уже никаким образом не может сделать хороший выбор. Ужасно было слышать от него эти слова. Но он не замечал, что жестоко бьет незащитного человека, он был полностью погружен в свои несчастья. Он разрывался между волей молодой женщины, желающей создать семью, и волей женщины, которая хотела свою семью сохранить. Ни одна из них не была его волей. Но какой была его собственная воля? Он не знал этого, а так как не знал, то выбрал ту волю, которую выбрать удобней и приятней.

Сначала я думала, он рад тому, что обстоятельства изменились и мы наконец можем опять стать такими, как в то время, когда детей у нас еще не было, только теперь уже не испытывая той нужды, в какой жили тогда; но его уже не интересовало, что и как я собираюсь менять. Возможно, он даже сердился на меня, что я вроде пытаюсь поколебать его моральную решимость, его готовность уйти, — ведь как совершит он этот шаг, если бывшие причины потеряли свою актуальность. Он оставался только из удобства или потому, что не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы завести новую семью. Только слабость удерживала его дома. Я не играла никакой роли в том, что он еще остается со мной, я могла быть кем и чем угодно. Он оставался бы там независимо от конкретных обстоятельств. И то, что я его простила, ничего не значило. Что это такое — прощение? Бывает оно вообще? Разве что в церкви, на исповеди: там кто-то прощает тебе прегрешения? Если ты произнесешь необходимое количество «Отче наш» и «Верую», любой скажет, что прегреше-

ний не было, или можно считать, что с этого момента о них можно забыть? Нет, никто тебе ничего не прощает, только сочетание обстоятельств и необходимых факторов побуждает тебя принимать то, что есть, и не пытаться из-за обид коренным образом изменить свою жизнь. А потом, в конце концов, ты в самом деле забываешь, что произошло, потому что на дурное воспоминание накладывается так много всего, в том числе, конечно, и много-много хорошего, что плохое уже невозможно выкопать из-под этой груды. Забвение — единственное эффективное лекарство, только оно стоит чего-то.

Забывать — это то же самое, что простить, и если кто-то видит тебя с тем мужчиной, который бесспорно тебя обманул и об этом всем известно, потому что разве в этом городе что-нибудь остается в тайне? Да ничего и никогда! Такого, чтобы — тайна, вообще не существует, есть лишь что-то, о чем не говорят, но, конечно, всем все известно. Словом, если какие-нибудь женщины смотрят на тебя и говорят, что уж они-то и минуты не смогли бы провести с человеком, который допустил по отношению к ним такую гадость, и вообще не понимают, как ты это можешь. Скажем, сидят они где-нибудь за столиком, перед кафе, на центральной площади города, и пьют что-нибудь, например чашку кофе с большим количеством молока, и обсуждают современные кофемашины, благодаря которым даже здесь можно выпить кофе такого высокого качества, какое бывает в лучших кофейнях, и тут они видят, как мимо проходит женщина, о которой я перед этим говорила, и не могут представить, как это возможно, с таким безмятежным видом идти рядом с этим мужчиной, хотя причина тут одна-единственная: она уже забыла, что случилось.

Мужчины — не такие, как женщины. Они не умеют забывать. Пускай многое изменилось — обиды жгут душу так же сильно, как прежде. Раны, причиненные ему за годы супружеской жизни, он описывал как такие травмы, которые залечить, заштопать уже невозможно, по крайней мере, я не смогу этого сделать, потому что не от меня он хотел исцеления. С того момента, когда он повернулся спиной к другой женщине — потому что он действительно повернулся к ней спиной и решил, что не станет лить по ней слезы, с того момента жил словно какой-то механизм, который выполняет все обязанности, а если какую-нибудь не выполняет, то потому лишь, что не знает, как ее выполнить, но скоро узнает и тогда занесет и ее в список выполненных.

Раньше, давно, ты был другим, сказала я, на что он ответил, ничего подобного, он и раньше был точно таким же, делал точно то же самое, встречался точно с теми же людьми, — хотя на самом деле он не был таким. Я-то знаю, потому что помню и хорошее, когда все, что он делал, он делал не потому, что нужно было, а потому, что ему хотелось все это делать. Он сказал: я потому видела его другим, что видела в мире лишь то, что хотела, и не видела того, что для него было плохо. Я смотрела на его лицо, когда он это говорил, и на лице, в каждой черточке, было написано: не могу согласиться, что это — моя жизнь. Стояло ли за этим, хотя бы смутно, какое-либо намерение, что-нибудь в том роде, что, мол, я еще могу компенсировать, — он часто пользовался этим словом, — надо лишь все изменить, — или это просто было неприятие всего и вся? Не знаю. На нем висел повседневный груз обязательных дел, а за обязанностями — только пустое пространство, словно какая-

нибудь зараженная местность, откуда люди спаслись бегством, а растения погибли от химического вещества, которое разбрызгал, разметал по земле случайный взрыв. Повседневные задачи обозначали границу зоны, и он трудился там, на этой границе, защищая вымершую местность, и не уходил оттуда ни на шаг — вдруг еще метр-два, и он наступит на жизнь, находящуюся вне зараженной зоны. Он мог сделать лишь одно: возвести что-то вроде дамбы, чтобы пустота не вылилась через него в мир, не залила живущих вокруг людей. Я видела, как он день за днем старается выполнять эту задачу, как оберегает тех, кто окружает его, особенно детей, от той бесперспективности, которая зияет за границами его ежедневных обязанностей.

Но ведь столько всего хорошего остается и сейчас, сказала я. Что ты видишь такого хорошего, спросил он. Я сказала: ты ведь — физик, исследователь, ты мог бы участвовать в стольких перспективных проектах, ты ведь так радовался, что в мире совершается столько самых невероятных технических открытий. В самом деле, прежде он так много и так увлеченно говорил о всяких частицах, природа которых сейчас исследуется, о том, как изменилось, благодаря этим исследованиям, представление о времени. Что в самой глубине материи нет такого, чтобы одно следовало за другим, одно вытекало из другого, как мы привыкли считать, и что образу мысли, который строится на вероятности и на причинно-следственной связи, то есть тому образу мысли, который господствовал в истории человеческого разума до сих пор, пришел конец, и то, что мир куда-то движется, не более чем иллюзия. Мир никогда не двигался и не двигается ни в каком направлении, ни в хорошем, ни в плохом, потому что мир, он ни хороший, ни плохой, мир на самом деле — никакой.

Если мы различаем хорошее и плохое, то все это придумано человеком, это не относится к природе мира, это просто некая система координат, которая как-то помогает нам ориентироваться. Всего лишь фикция, потому что в самом мире такой системы, которую мы придумали, нет и быть не может. Ни одна из разработанных нами систем не имеет отношения к фактическому миру, в котором системы вообще нет. Любая вещь, какую ни возьми, — не причина и не следствие другой вещи, существуют лишь случайно совпадающие вещи и события, да мы и сами принадлежим к миру случайностей. Именно поэтому невозможно представить себе, что мы найдем систему, охватывающую весь мир, и именно они, то есть физики, обнаружили это, исследуя структуру материи, а совсем не философы. Философия еще и близко не подошла к этой проблеме, а внутреннее строение и взаимодействие атомов уже четко, как дважды два, наметили радикальное изменение мышления. Уже соотношение неопределенностей Гейзенберга все решило, сказал он и называл еще какие-то имена, и насколько заблуждался Эйнштейн, когда думал, что за случайностями таится какой-то закон, просто мы неспособны его увидеть. И разве не странно, что на уровне частиц мир полон случайностей, а в больших единствах все же словно бы присутствует предопределенность, прямо как у людей: каждая судьба уникальна и случайна, но в статистическом плане человеческие судьбы, собственно, совершенно одинаковы. Дети тоже прислушивались, видно было, что они немного испуганны, особенно тем, как он это говорил: глаза устремлены в пространство, словно эти фразы были написаны там и он просто зачитывал их нам, потому что мы не умеем читать в воздухе. И еще он сказал, что это действительно выглядит устрашающе, а если кого-

то не потрясает, то он наверняка просто ничего не понимает... Тогда один из детей сказал: все-таки это, наверно, не везде так, потому что если он, например, уронит камень, то камень ведь в самом деле упадет на землю, а не полетит вверх. То, что происходит, не может не произойти, сказала я ребенку. А можно еще пирожного, сказал второй ребенок, воспользовавшись паузой, потом они ели, как всегда, и даже случайно не думали о том, какие невероятно сложные, запутанные процессы происходят внутри атомов пирожных.

Раньше ты радовался, что можешь этим заниматься, сказала я, и что ходишь на работу в такое место, которое как-никак расположено в самом красивом районе города, в зеленой зоне. Все-таки это совсем не то, что каждое утро и каждый вечер тащиться по загазованным улицам центральной части. И что можешь ездить в другие университеты, читать лекции об эволюции космоса, о Большом взрыве, о природе материи. Ты радовался, что попадаешь в такие города, где прежде никогда не бывал, что квантовая физика не только исследует, с помощью невероятно дорогих экспериментальных устройств, движение самых мелких частиц, но и тебя уносит в любые части мира. Ты знакомился с людьми, о которых раньше, когда возвращался домой, говорил детям, что про таких людей слышал только в сказках: с индийскими князьями, индейцами, потомками смелых мореплавателей, викингов. Когда ты приезжал домой, дети смотрели на тебя широко открытыми глазами, ты был для них человеком, который видел все чудеса мира, и они надеялись, что когда-нибудь тоже увидят эти чудеса. Расскажи еще, папа, говорили они, а ты им: закройте-ка глаза — и вы увидите, как продолжается сказка там, за закрытыми веками, и

ласково гладил их, когда они вечером лежали в постели, мечтая, что когда-нибудь и они отправятся по дороге, проложенной отцом в царство чудес.

Не будь того, одного-единственного чуда, что они любили меня, все чудеса были бы бесполезны, прервал он меня, и добавил, что рассказывал все это для того, чтобы дети заснули наконец и он мог побыть со мной. Неправда, сказала я. Да нет, сказал он, правда, и что ждал он совсем не той фразы, мол, ты наверняка устал, эта дорога, множество людей, ты, наверное, еле живой. Потом он помолчал, ожидая, что я смогу еще сказать, чтобы компенсировать впустую потраченное время. Потому что чувствовал он себя так, словно действительно потратил много времени попусту. Так чувствует себя человек, который сел в автобус, идущий не в том направлении, а времени у него, чтобы вернуться и тем более пересечь на другой автобус, не осталось.

Когда это все началось, сказала я, отвечая на его невысказанный вопрос, ты об этом не думал. Когда ты, молодой исследователь, сидел на замызганный автобус центральной физической лаборатории, ты еле успевал вскочить на ступеньку, говорил ты тогда, и рассказывал, как автобус плевался маслом и едва не застревал на крутом подъеме на Божью гору, но, когда ты на этом автобусе ехал в институт, ты совсем не думал, что этим дело и кончится. Все для тебя было внове, ты почти никого там не знал, одного коллегу, кажется, он окончил университет немного раньше тебя. Все говорили, что с твоими знаниями ты и на свободном рынке мог бы добиться многого. Глупо, конечно, в условиях только-только оживающей экономики поступить на работу в академический институт, кое-как прозябающий на бюджетные деньги. Это же — верная голодная смерть. С урчащим желудком размышлять о каких-то ча-

стицах — просто смех. Но я говорила тебе, не бросай смотри, никого не слушай, слушай только свое сердце, а по радио звучало «Listen to your heart»*, мы смеялись и были счастливы, думая об этом, добровольно взятом на себя риске.

Тогда нельзя было знать, чем это кончится. Кто, кроме тебя и меня, мог бы подумать, что тебе, после тех выдающихся людей, которые уже придумали почти все, что только можно представить, — тебе придет в голову мысль, скажем, об атомах углерода, которую еще никто не высказал. И смотри, с какой завистью смотрят сейчас на тебя друзья, пытающиеся добиться чего-нибудь в экономике, потерявшие на бирже целые состояния, — смотрят на тебя и вспоминают те годы, когда они чуть не каждый год меняли машины, а ты все ездил на том институтском автобусе. Ты все выдержал, и я хотела, чтобы ты выдержал, и это было здорово, что у нас мало денег, потому что нехватка денег позволяла думать о том, как распорядиться этими небольшими деньгами, чтобы дети были счастливы, чтобы у них было такое детство, которое и мы бы для себя хотели. Если бы не эти небольшие деньги, тогда мы бы не разбивали в лесу палатку, а снимали апартаменты, как друзья, устроившиеся в экономике. Тогда бы не было озера Тиса и Велемского озера, тогда бы не было такого, что мы сами все делаем, своими руками и сердцами. Тогда мы за всем ходили бы в магазин и покупали готовое. Тогда это была бы не наша жизнь, а жизнь, которую продают за деньги. Но мы не хотели покупать жизнь.

Хватит, надоело, сказал он. Неинтересно ему это, все, что интересовало раньше, потому что оно лишь

* «Прислушайся к своему сердцу», песня шведской группы «Roxette».

в том случае было бы интересно, если имелось бы что-то одно, что можно назвать, — и тут он произнес это слово, когезия, — в общем, можно назвать когезией жизни, некой силой, которая все связывает в одно целое, как атомное ядро, — некое мощное взаимодействие, о котором, конечно, никто не знает, что это такое, но оно есть. Тогда по отношению к нему, к этому взаимодействию, всему нашлось бы свое место — беда только в том, что вот этого, чего-то одного, нет. Он начал приближаться к чему-то, что можно назвать крышкой времени: время, которое раньше, казалось, распахивало перед ним свои объятия, теперь сплющилось, превратилось в низкий свод над его головой. Он чувствует, как годы притискивают его к этому потолку. Неинтересно ему знать, как функционирует мир и какие часы тикают внутри атомов, потому что он сейчас горбится под давлением собственного времени. И кто знает, сколько еще лет нужно держать на плечах груз этого времени, хотя он в общем догадывается: кончится тем, что он не выдержит и упадет, а время обрушится на него. И конечно, совершенно все равно, вперед или назад крутятся стрелки, иллюзия ли, и в какой мере иллюзия — наше представление о мире, потому что с этого момента для него уже не будет ничего, в том числе и того мира. Крах собственного бытия — или пускай возможность краха — затеняет, омрачает все прочее. С этого момента, сказал он, не может он заставить себя верить, что в чем бы то ни было есть какой-то смысл. Что есть смысл в том, что он делает, что есть смысл как-то проводить рабочее ли, свободное ли время — его всегда будет преследовать мысль, что та деятельность, которой он занят, нужна лишь для того, чтобы как-то провести время, отвлечь внимание от этого уходящего времени. Никакого более высокого смысла, тем более значе-

ния — нет. И ни к чему любая неповторимость на уровне самых мелких частиц — как только мы сделаем шаг оттуда, все огромное целое покатится в логическом направлении предопределенности. Невозможно воспринять разумом то, что даже в крохотных частицах больше тайны, чем в жизни его и, конечно, в жизни любого другого.

Может быть, и тут он немного поднял глаза, глядя в пространство кухни, поверх стульев, где до этого нельзя было ничего увидеть, потому что там обычно сидели дети, но теперь их чаще всего не было дома. Может, если бы живы были подлинные титаны, подвижники науки, каким, например, был Тесла, какими были Фарадей или Ньютон... Но сегодня эти легендарные фигуры растворились бы в коллективной работе, так же, как и он сам. Теоретические исследования сейчас так далеки от реальной жизни, что их фактическую пользу совершенно невозможно установить, а частные исследования, которыми занимаются отдельные ученые, полностью оторвались от больших исследовательских целей, их не только нельзя связать с реальной действительностью, но и даже с исследовательским направлением в целом. Ужасно это, сказал он, особенно когда думаешь, что эту веру в науку он так долго, много лет, мог сохранять в себе. Теперь он оглядывается на эти двадцать пять лет как на годы, прожитые совершенно бессмысленно. Жить стоит только до тех пор, сказал он спустя некоторое время, пока ты способен эмоционально относиться к жизни, пока ты можешь любить, а если уже не можешь, то ни к чему дальше тратить время впустую. А ты — можешь любить, спросила я. Он перевел взгляд на меня и долго молчал. Он не хотел сказать, что тебя — нет, не могу. Хотя — не мог. Я видела это по его лицу: нет, он не мог меня любить, как не мог и никого друго-

го, — разве что мог любить то воспоминание, которое осталось от той, другой женщины, или... даже и его не мог он любить, потому что выбросил его из своей головы, а вместе с ним исчезли оттуда и прочие чувства. А ты — можешь, снова спросила я.

Он обратился ко мне лицом, грустно посмотрел на меня. Потом мышцы на его лице напряглись, подобно веревкам, когда на багажнике, на крыше машины, закрепляют предметы мебели. Мне было страшно видеть эти жесткие узлы. Что меня будет удерживать, спросил он. То, что вокруг нас есть другие, прочие люди, например друзья, сказала я. Нет, ответил он, все они ему надоели, в общении с ними нет ничего такого, от чего у него улучшилось бы настроение или хотя бы что-то шевельнулось внутри. Все это люди, которых он уважает, но они не могут делать ничего иного, кроме как непрестанно, не переводя дух, перечислять принципы, направляющие их прожитую жизнь. Каждый из них знает, почему стоит жить именно так, как живет он, а на самом деле их жизнь давно им наскучила, только не хватает духа в этом признаться, потому что нет сил что-либо изменить. С женами своими они уже договорились, что не будут касаться друг друга, он употребил именно это слово, «касаться», будут тихо жить рядом, а если возникнет практическая потребность друг в друге, тогда они удовлетворят ее. Какое-то время еще и в постели, потом разве что в кухне или там на семейных встречах, еще позже, заболев, вместе будут наблюдать, как, после чувств, распадается тело. Будут вместе проводить свободное время, вместе ходить в лес, каждый шаг документируя дешевой цифровой мыльницей; они — самые преданные посетители всяких культурных мероприятий, они составляют значительную часть публики в театрах и на концертах. Иногда пойти куда-нибудь в

театр именно потому неприятно, сказал он, что там чувствуешь не столько силу искусства, сколько дыхание смерти. Но людей в этом возрасте подобное не пугает, они упорно покупают билеты и собирают баллы. Они уверены, что лишь так смогут успешно бороться с невыносимой скукой, которую испытывают день за днем.

Со скукой, которая порождена тем, что впереди еще масса времени, но для разумного действия этого времени давно уже мало, или их стало слишком мало. Физически мало — потому что у них полно болезней, чувствительность к циклонам, к пылице, после какой-нибудь проведенной вне дома ночи так стреляет в спине, что неделями приходится мазаться всякими скверно пахнущими кремами, и вообще без небольшой аптечки они из квартиры не могут выйти; или психически мало — потому что нет уже у них настроения испытывать искренний интерес к миру. Они не перестают напоминать себе и другим, как и чем баловала их судьба, и каждый уик-энд отправляются поглазеть на какое-нибудь архитектурное сооружение или природное чудо — хотя, если бы что-то действительно затрагивало их сердца, они бы тихо радовались, что живы, а не лезли бы из кожи, не мельтешили бы, доказывая, что вот они какие бодрые и энергичные.

Развлечениями и уходом за телом будут они заполнять оставшееся им время. Будут придирчиво искать, лучше которого из своих ровесников они выглядят, жалеть тех, кого жизнь не пощадила, и радоваться, что к ним-то судьба точно была благосклонна, что они совсем не так выглядят, как могли бы выглядеть в этом возрасте, хотя — черта с два. Если повезет, они еще подивятся живости и энергии детей, а через них смогут почувствовать, что такое жизнь, и, конечно, после временного восторга

от внуков, начинают понимать, что их жизнь — уже в общем-то не жизнь. Нет, на этот последний круг соперничества я не хочу записываться.

Он помолчал.

Встречи с друзьями — тоже ведь для проформы, никому особенно это не нужно, заговорил он снова, грустно глядя перед собой, и он — один из них, что бы он ни делал, и если кто-нибудь из приятелей заговорит о такой встрече, то и его упомянет как одного из участников этого никому не нужного мероприятия. У каждого тут какая-то роль, закрепившаяся за ним за много лет: кто-то — шутник, кто-то — большой фантазер, кто-то не может не прихвастнуть, кто-то хорошо жарит мясо, другой готовит гуляш, еще кто-то — человек хорошо информированный, и можно продолжать и продолжать, словно это какая-то пьеса без финала, на которую у тебя бесплатный билет, и она действительно никак не хочет кончаться, затягивается на весь вечер, а то и на ночь. Женщины давно утратили свой прежний блеск, и, когда смотришь на них, нет в тебе бывшего чувства, что ради любой ты бы выхватил меч, пошел бы на любые испытания, только чтобы она была твоей, — ни один из мужчин уже такого не чувствует, а потому даже самые простые инстинкты не добавляют энергии в общение. И сидят они над отброшенными мечами, безоружные, без страстей и эмоций, без цели и воли, пустые и невозмутимые, словно приверженцы какой-нибудь восточной религии, различие только в том, что исходную волю в них сменило упрямство, и с этим упрямством они стараются надолго угнездиться в той части мира, которая поближе, и балласт их присутствия распределяется и на детей, и на сослуживцев, и на предметы, которые им принадлежат.

Неправда, что женщина все почувствует. Сколько их, таких женщин, которые топчутся в кухне: воскресный день, как можно предположить, начало месяца, потому что такое обычно происходит в начале месяца (хотя иногда бывает, что, например, десятого числа, потому что любовница или любовник заявили тебе: самое позднее — до десятого, или ты меня больше не увидишь), и готовят обед. Вот и обед готов, гороховый суп, хорошо, что есть замороженные продукты и гороховый суп можно варить хоть осенью, хоть летом, и картофельное пюре, какое-нибудь мясо, может, индейка. В то время, когда все это произошло, была популярна индейка. Она как раз собирается сказать, пора за стол, и тут муж приходит в кухню и говорит: я в эту сумку сложил самое необходимое. И показывает сумку (женщина даже не смотрит, надо что-то там сделать с газом, то ли выключить, то ли прикрутить), сумку, с которой дети обычно ходили на экскурсию. Он говорит: в общем, я ухожу. Тогда женщина возле плиты оглядывается, но не вскрикивает, не раздражается рыданиями, только говорит: ты что, и не пообедаешь даже? Мужчина смотрит на нее: он думал, она устроит сцену, и не понимает, что с этой женщиной, неужели она настолько бесчувственна, неужели их брак для нее ничего не значил? Что ж, хорошо, что он уходит туда, где его любят. Так он думает, хотя женщина прекрасно понимает, что происходит, она машинально сказала фразу, которую и так сказала бы, если б муж собирался после обеда уйти на часок-другой по какому-нибудь делу.

Неправда, что это можно почувствовать. Часто это просто в глаза бросается, все вокруг всё знают, кое-кто даже уже намекал, а она все равно ни о чем не подозревает. Разве что если это где-то будет написано, черным по белому, или сказано. Какое-ни-

будь письмо, эсэмэска, случайно услышанный телефонный разговор. И все становится таким незначительным, все, кроме этого, поэтому незачем говорить о чем бы то ни было, скажем, о том, в какой стране я живу, хотя живу я в такой стране, что с утра до вечера можно перечислять грехи и преступления, которые в этой стране происходили и происходят. Но я не хотела говорить о людях, которые, злоупотребляя служебной властью, разворовывают общее достояние и издают законы, которые полезны только им самим или тем, кто на них похож. Не интересовало меня, в том кругу, к которому я отношусь по рождению, сколько процентов живут в полной нищете, сколько сейчас лишаются работы, чтобы окончательно потерять свою нишу на рынке рабочей силы и прозябать без работы и чтобы в конце концов, в результате нездорового образа жизни, их прикончила какая-нибудь тяжелая болезнь. Я считала смехотворными всякие свары, которые то и дело вспыхивали на службе. Кого это интересует, я тоже утратила ощущение тех бесспорных ценностей, к которым можно было до сих пор приравнивать все, что происходит вокруг, и подобно тому, как падают с бешено крутящейся карусели оторвавшиеся сиденья, так разлетались от меня во все стороны мысли и чувства. Вот так я и жила, и не видно было другого решения, кроме как вернуться к исходному состоянию, — исходным я считала то, что было когда-то. Тот своего рода порядок, на котором покоится мироздание. Потому что мироздание отнюдь не покоится на общих естественно-научных законах: порядок мироздания опирается на индивидуальное ощущение жизни. А во мне это ощущение жизни как раз сломалось, и гравитация, которая удерживала вещи в душе, перестала их удерживать, и все, что там находилось: чувства, воспоминания, эмоции, — выле-

тели и запорхали на свободной орбите, ни в грош не ставя логику времени и сталкиваясь друг с другом в пространствах моего внутреннего мира.

В такое время тебе так хочется вновь оказаться перед тем мгновением, которое бесповоротно разрушило порядок, который до этого был. Но нельзя снова там оказаться. И пускай квантовая физика доказывает, что во времени нет никакой линейности, все равно нельзя попасть туда, к состоянию перед тем мгновением. И появилось ощущение, что той жизни, которая была перед тем мгновением, вовсе и не было, я уже не помнила, как хорошо тогда было. В результате того, что все катастрофически разрушилось, я смотрела назад, на прежние годы, словно это была история падения, — вот так, стоя перед какой-нибудь сломавшейся домашней техникой, мы никогда не вспоминаем, как много лет она безотказно служила нам и сколько пользы принесла, сколько раз, например, я взбивала в ней сливки. Я завидовала друзьям, у которых подобного не было. Завидовала их браку, ранее казавшемуся пустым и бессодержательным, браку, который много лет держался только на детях и на общих интересах, — теперь я видела в нем огромную ценность, видела всего лишь по той причине, что они не оставили друг друга и расставание им даже не грозит. Все в этот момент оказалось в тени происходящего, все те годы, которые я никогда не поменяла бы на годы, прожитые моими подругами, — а теперь эти годы оказались под огромным вопросом.

Тем временем, с момента, когда рухнул порядок мироздания, с того идиотского телефонного звонка, когда все стало ясным как дважды два, хотя у меня уже не было ни сил, ни желания вникать в ситуацию, — прошли годы. Умерли те, кто на своих пле-

чах удерживал надо мной время, это время должно было обрушиться на меня, но оно не обрушилось, потому что не было на кого, не было такого цельного человека, на которого оно могло обрушиться. Конечно, прежде чем умереть, они стали неловкими, беспомощными, они полностью зависели от медицины и от заведений, предназначенных для стариков. Я делала, что нужно было делать, ведь меня воспитали так, чтобы я всегда соответствовала требованиям, а сейчас главное требование заключалось в том, чтобы заботиться о них. Это был последний этап, когда родительская воля, на исходе своих возможностей, находит опору в сочувствии, в нашей обязанности опекать их, — иначе, если мы не выполним эту обязанность, нам придется испытывать угрызения совести, которые замучают нас после их смерти. Они еще дали мне это ощутить напоследок, и хотя я сделала все, что можно, но ведь так же не бывает — похоронить родителей, не почувствовав, что можно было еще что-то сделать. Что-то такое, что или просто посчитала не важным, или подумала, это потом, это еще успеется, ведь не горит же, не сию же минуту конец, — а когда конец все же настал, тут и выясняется, что ты все же чего-то не сделала, и твое упущение, твоя невнимательность, сознание, что ты не сделала того, что было нужно, навсегда ложатся пятном на твою совесть. Родители даже задним числом, беспомощностью своей, способны причинять боль. Но я не могла сердиться на них. Когда они умерли, я увидела их другими, увидела их покойниками, которых уже невозможно ни в чем обвинять, разве что в том, почему это случилось именно сейчас, почему так рано. У других еще оба родителя живы, мучила меня зависть, а у меня — ни одного.

Странно было думать, что мир продолжает жить с кем бы то ни было или без кого бы то ни было, ничто в нем не останавливается, ничто не становится лучше или хуже, ведь за каждой смертью следует столько же, хороших ли, плохих ли, рождений. Ничто не меняется, в мироздании не остается даже крохотной прорехи в том месте, где находился до той минуты еще живой человек. Накопленные личные ценности обесцениваются. Выбрасываются в мусорное ведро бережно хранимые сувениры. Остаются несколько вещей, которые наследники считают нужным сохранить: ведь в них есть частичка их собственного прошлого. С этими вещами расстанется какое-нибудь следующее поколение. Какой же это самообман — считать, что множество жизненных событий, запечатленных в вещах, накопившиеся на протяжении жизни предметы способны существенно продлить твою жизнь, сделать ее значительнее. Ничего подобного. Жизни твоей останется ровно столько, сколько было в то время, когда дети еще не умели читать и писать. Какая наивность — считать, что значение наше выйдет за пределы нашей собственной жизни. Фотографии, оставшиеся от какой-то давней поездки, где так хорошо чувствовали себя те, кто больше не чувствует ничего, поскольку их нет, — фотографии эти летят в мусор вместе с другими; письмо, в котором были сказаны важные, определившие всю жизнь слова, — сегодня оно, это письмо, уже ничего никому не скажет: ведь к нему должно было прилагаться то знание, которого уже нет.

Странное ощущение, будто ты откуда-то прибыл и куда-то направляешься, на мгновение посещает тебя, когда ты разбираешь оставшиеся от умерших вещи, когда появляются на свет божий несколько

изображений прадеда и прапрадеда, пожелтевшая выписка столетней давности из метрической книги. На мгновение словно становится видимым поток, в котором когда-нибудь окажутся и твои фотографии... Но в конце концов ты с грустью приходишь к выводу: большая часть вещей, связанных с минувшими жизнями, годится лишь для того, чтобы попасть в мешок с мусором: ведь те, минувшие жизни перестали быть жизнями, а считается только то, что живет, и ты понимаешь, что и твоя жизнь, жизнь того, кто разбирает все это барахло, будет считаться жизнью, лишь пока ты жив, а потом потеряет смысл, как и все, что изымается из оборота.

Он не мог смириться с тем, что для него нет той, другой жизни, которую он способен был представить себе как жизнь возможную, не мог принять, что от той, возможной жизни он вынужден отказать, причем не из-за кого-то другого, а всего лишь по собственной слабости, по причине того, что не верил в возможность нового забега во времени. Он не мог представить себя через десять лет с двумя детьми и с той, другой женщиной, но с теми же самыми проблемами, которые однажды уже пережил. Что снова будут вставать вопросы, хватит ли денег на летний лагерь для детей и на поездку к морю, на брекеты, на очки, и, естественно, чтобы просто хватало на жизнь. Что отношения с той женщиной, с которой он мог бы переписать свою прежнюю жизнь, наполнятся напряженностью; к тому же у него, начинающего стареть, теряющего уверенность в себе мужчины, появится ревность, и она все сильнее будет отравлять его сердце. Он вечно будет следить за женщиной, убежденный, что для этого есть серьезные основания, ему все станет подо-

зрительным: новое платье, новый сослуживец, только что переехавший новый сосед. Он не решился углубляться во все эти новые обстоятельства, он сбежал от них. Но забыть возможность этой жизни он не мог. Он стал другим.

Ты стал другим, говорила я, но напрасно я это ему говорила, он всегда отвечал одно и то же: вот если бы я тогда это заметила, когда он в самом деле стал другим. Ведь я должна была заметить, ведь у него на лбу было огромными буквами написано, что что-то не то, что-то не в порядке, — но тогда я не заметила, а теперь что толку: уже поздно.

Он не мог смириться с тем, что ему не дано жить другой жизнью, что он вынужден жить этой. Я же — смирилась: есть то, что есть, этим ты и живешь. Я не думала ни о чем, что могло быть лучше или хотя бы иным, потому что ничего такого нет. Напрасно думает кто-то, что сможет стать не таким, как все, перехитрить собственную судьбу: никуда он от себя не денется, разве что уподобится другим в наивной надежде, что способен себя пересилить, способен выйти за пределы своей натуры. Было несколько лет, когда мне представлялась решающей и достаточной ситуация, что есть два маленьких существа, два ребенка, для которых я — самый важный на свете человек, и сколько бы ни было в жизни трудностей, но тот факт, что они рядом со мной, убедительнее всего показывает, для чего я живу и где мое место в этом мире. У каждой минуты имелась своя задача, и выполнять эту задачу было радостью. Пожалуй, я тогда и утратила уверенность в себе, когда эта однозначность стала слабеть: ведь постепенно мне приходилось убеждаться, что, во-первых, мою роль может сыграть кто угодно, а во-вторых, в том качестве, как раньше, во мне нет необходимости. То, на эле-

ментарном уровне существующее, оправдание моей жизни исчезло, но я не думала, что с этой минуты стала лишней, более того, было едва ли не радостно сознавать, что вот, я свободна. Не нужно бежать домой, не нужно вечно быть в состоянии готовности. Мы уходили с работы, и кто-нибудь говорил, а не зайти ли нам куда-нибудь на полчаса, и я отвечала, почему бы и нет. Я спокойно могла так говорить, и приятно было сознавать, что я могу это сказать, ведь сколько лет приходилось отвечать по-другому: прости, не могу, потому что, знаешь, дети.

Мне доставляло удовольствие думать, что дети выросли, с ними можно и разговаривать, и обращаться по-иному, а поскольку жизнь их движется в том же привычном русле, то когда-нибудь и их дети будут радовать меня. Пока есть время, лет десять, совсем без детей, а потом появятся дети, которые будут доставлять только радость, ведь ответственность будет лежать на их собственных родителях. Вот только он этой жизни для себя уже не хотел. Он говорил, что в течение многих лет терпел, чтобы над ним довлели конвенции, и уже то, что он произнес такое слово, которое человек, говоря о своей жизни, никогда бы не употребил, показывает, насколько он утратил связь с той жизнью, которой мы жили. Словом, на протяжении многих лет он терпел, что живет в плену конвенций. Почему же ты не поступил по-другому, спросила я, если это тебя не устраивало; мы поругались. Нельзя было по-другому, ты же как раз и не хотела, чтоб по-другому. Но ведь я не говорила, сказала я, что хочу того или этого. Конечно, ты не говорила, чего ждешь от меня, не говорила, чего и сколько ты хочешь, но я знал, что хочешь, а так как ты не говорила, то я всегда чувствовал, что тебе всего мало: мало, что я бесконечно работаю, мало денег,

которые я получал. Но мне как раз было хорошо, как было, сказала я; а он: ну конечно, но ты этого никогда не говорила, а я не решался сказать, что это уже слишком, и этот летний отдых я не могу оплатить, и если мы хотим еще, то ты должна искать такую работу, которая приносила бы заработок, достаточный для летнего отдыха. Я и этого не замечала. Да и не могла заметить, потому что в конечном счете деньги, которые были нужны, всегда находились. Потому что я, сказал он, соответствовал конвенциям и делал то, что от меня ждали, хотя, конечно, никто не говорил, что от меня ждут того-то и того-то, и, конечно, отсюда ясно, что никто не говорил, дескать, как хорошо, что ты это сделал, что, занимаясь научной работой, смог иметь заработок, на который может прожить семья с двумя детьми. Чтоб этим детям ни в чем не было недостатка. Никто не говорил, мол, ах, как это хорошо, просто говорили, что так и должно быть, в этом и заключается мое дело. Потом уже и дети: для этого и нужен отец, а если для меня это слишком много, то не надо было брать на себя столько, и под этим «столько» они понимали не что иное, как их жизнь.

Почему же ты не сделал по-другому, спросила я снова, ведь можно было и по-другому, надо было только сказать, как это — по-другому! Такого не бывает, сказал он, чтобы семья жила по-другому. Семья — структура консервативная, если ты ее признаешь, тогда должен признавать и обязанности, связанные с ней, и я их признавал, сказал он. По-другому детей воспитывать невозможно. Модернизм — это только в искусстве. В семье не бывает экспериментов с формой, дескать, я сейчас все разбираю, поверчу составные части так и этак — и соберу их в новую структуру, как какой-нибудь худож-

ник-кубист — цветочную вазу, которую потом невозможно узнать, но она тем и замечательна, что совсем другая. Семья тем и хороша, что она точно такая же, как другие семьи. По-другому невозможно, а тогда и принятие данных конвенций не означает очень уж большой трудности, ведь конвенции отражают жизнь, они — не пустая формальность. В дни рождения или в какие-то общие праздники самое главное — радость детей, но к сегодняшнему дню эта радость уже выветрилась, остались конвенции, полностью опустевшие, а та картина будущего, которую предполагает сохранение конвенций, для меня неприемлема, сказал он. В этом смысле я не стою так близко к биологическому бытию, чтобы, как стареющий самец, ждать, рядом с самкой, пока мои дети сотворят собственных детей, а когда это будет сделано, то, отыграв роль, которую называют ролью дедушек и бабушек, и оставив после себя хорошие воспоминания, умереть.

Он почему-то не замечал: именно тем, что, собрав последние силы, хочет выйти на поле боя, где происходит борьба самцов, он как раз и доказывает, насколько держат его в плену возрастные критерии. Он хотел сразиться с новыми возрастными группами, и тщетно кто-нибудь попытался бы сказать ему, дескать, ты же себя выставляешь на смех, у тебя за спиной люди перешептываются, смотрите, мол, волосы крашенные, вставная челюсть, молодые самки обращаются к тебе на «вы». Нет, он во что бы то ни стало хотел сразиться. И конечно, тут-то она и появилась, та женщина.

Потому что женщина находится всегда, женщина, которая в конце концов разрушит тот уклад, в котором человек жил до сих пор. Женщина, которая в те годы, годы неопределенности, когда стареющий

лев еще не готов забиться в логово под скалой, чтобы спрятать свою облезлую гриву и слезящиеся глаза, а ходит, гордо выпятив грудь, и раздает дурацкие советы молодым самцам. Женщина, которая в эти годы, годы неопределенности, заставляет мужчину, находящегося в состоянии опасной самонадеянности и самообмана, касающегося всего: и физической силы, и внешности, и духовной энергии, выбраться оттуда, где он находился и где был на месте. Женщина, которая говорит ему: милый, ты же — царь Африки, а живешь в пустоте, у тебя огромное царство, бесчисленные подданные, дворцы, армия, говорит она, надо лишь оглядеться, надо лишь открыть глаза пошире, чтобы сказочное это царство появилось перед тобой. И он, забыв обо всем, слушает эту женщину, ее лицемерные слова. Он думает: да, любовь поможет ему выйти из пустоты, встряхнуться, перестать отказываться от всего, что есть в жизни хорошего. Так что для него сейчас это главное — найти ту, ради которой он готов решительно изменить свою жизнь, благодаря которой мир снова станет для него родным домом, мир, где он до сих пор странствовал, как заблудившийся путник. Найти ту, с появлением которой вновь наполнится чувствами, красками все вокруг, например и его сердце...

Нет смысла продолжать, ведь нет женщин, не знающих эти шаблонные фразы, которые произносятся в таких случаях, вслух или про себя, мужчинами. Хотя речь, по сути дела, шла лишь о том, что была некая эмоциональная воля и в эту эмоциональную волю вторглась другая, неудовлетворенная эмоциональная воля. То есть рядом оказалась некая женщина, которая до тридцатипятилетнего возраста не сумела найти себе нормального партнера, с

кем могла бы полноценно реализовать свою жизнь. Не нашла, потому что слишком долго выбирала, прислушивалась к своим запросам и прихотям, ну и просто жалела время и силы, которые требует такая связь, и, не в последнюю очередь, жалела свою свободу, от которой ей пришлось бы отказаться. Но сейчас, испугавшись перебоев в месячных, поняв, что это, может быть, последний звонок, а потому — сейчас или никогда, — и тут же решила заполучить кого-нибудь, с кем можно теперь, в последний момент, выполнить программу по продолжению рода, которая также представляет собой необходимую часть жизни. Ну и, конечно, кого она могла еще выбрать, как не его?

Такие женщины есть везде, на них невозможно не наткнуться, тут нет смысла думать о том, что, откажись ты тогда поехать с докладом в провинцию... брось, тогда была бы, в каком-нибудь другом месте, другая. Такой встречи никак нельзя избежать, если мужчина внутренне открыт для чего-то подобного, а большинство мужчин в таком возрасте — открыто. Со временем, однако, выясняется, что у двух индивидов, у двух стратегий только исходный пункт был одинаковый, а финал, о котором оба мечтали, мыслился совсем по-разному. Женщина пришла от одиночества, мужчина — от слишком тесной семейной жизни. Женщина хотела избавиться от одиночества, мужчина — от совместного существования. Женщина хотела упорядоченной и целесообразной, конечно, с дарвиновской точки зрения, жизни, мужчина — свободного, не обремененного обязанностями бытия, о котором при наличии семьи и думать нет смысла, а с женой пытаться начать что-то новое невозможно, да и не хочется.

Он стыдился показываться со мной, словно я была чем-то вроде пятна на его судьбе. Однажды он так и сказал: пятно от прожитой жизни, как на пуловере, когда на другой день его надеваешь, то обнаруживаешь на нем след обеда, который ел вчера; он чувствует, что, когда он со мной, на него показывают пальцами и перешептываются. Он не заметил, что причиняет мне боль. Даже тогда не заметил. То ли не прислушивался ко мне, то ли ему было все равно. А ведь супружеские пары, которые освобождаются от обязанностей, связанных с воспитанием детей, и не питают иллюзий относительно своего возраста, как он, обычно находят что-нибудь, чтобы не проводить время бесполезно. Они вполне могут это сделать, особой нужды они сейчас не испытывают, дети уже сами зарабатывают на жизнь, тратить на них деньги все время не нужно. А ведь столько всего можно предпринять, занятия — одно другого лучше. Если они не могут уже, как когда-то, радоваться друг другу, то радуются тому, что делают, или тому, где находятся, какой-нибудь красивой местности, необычному городу. Он такой жизнью не хотел жить. Полезное и содержательное использование свободного времени, культурные программы, активный отдых — все это он глубоко презирал, считал фальшивым способом времяпрепровождения, способом, который нужен лишь для того, чтобы никогда не оставаться наедине с уходящим временем. Самообман и видимость действия, сказал он однажды. А что тогда не видимость действия, спросила я. Он промолчал.

Не знаю, почему случаются в середине жизни эти приступы беспокойства. Возможно, речь лишь о том, что между загруженностью семейными обязанностями и временем, когда приходится заниматься

болезнями и немощами, есть несколько лет перерыва, когда, в принципе, можно жить свободно и безоблачно, но человек с этими несколькими годами и не может справиться. Это выглядит так, будто ты стоишь в чистом поле, полный сил, а никаких достойных задач вокруг нет. Да и откуда им взяться? Жизнь сейчас — легкая, и нередко эту легкость-то и невозможно вынести. Может, беда в том, что мы перерастаем свои задачи. Получаем десять или пускай даже двадцать лет, когда можем спросить себя: а для чего мы живем? В самом деле, для чего? Современная медицина, относительно здоровый образ жизни сделали возможным физическое продление жизни, но душа-то осталась там, где была всегда. Не знает она, как быть с предоставленной ей свободой. Душа бежит в укрытие задач и там проводит, в страхе и растерянности, время, по прошествии которого умирает. Если укрытие это исчезнет, она неспособна будет справиться с пустотой, возникшей за неимением осмысленных и необходимых действий. В такое время и приходят суррогаты, замена действительных жизненных задач, — ведь настоящих задач уже, хоть обыщись, не найдешь. Она думает, уж кто-то, а она точно не попадет в эту ловушку, найдет выход, — однако и второй брак, и вторая семья — то же самое, тот же самообман, а не только выпивка, или пускай трудомания, не только разные дурацкие увлечения, например марафонский бег, или рыбная ловля, или складывание Эйфелевой башни из спичек. Новая семья — тоже не что иное, как шулерская игра, суть которой не внутренняя потребность души, а бегство души от самой себя, попытка снова спрятаться в ту сеть зависимостей, откуда не видны разрушения, которым подвергло нас время. Попытка поверить, что мы снова находимся на стартовой

линии, на которой когда-то стояли, хотя на тот стартовый мостик мы уже никогда больше не встанем, что бы мы ни делали, мы лишь барахтаемся возле края бассейна, боремся с последними метрами.

Он сказал, что не может от нее отказаться. Слышу, сказала я, когда он посмотрел на меня: мол, что молчишь. Но и идти вместе с ней не могу, сказал он. Я ничего не ответила. Не сказала ему, дескать, иди, потому что куда-то надо же двинуться, а сразу в двух направлениях — невозможно. Так мы и жили. Втроем. Не будучи знакомы друг с другом, все же представляли некоторое сообщество. Каждому из нас было плохо. Ему — тоже. Тут — не двойная радость, что и здесь, и там, а двойная задача. Он почти не мог соответствовать все возрастающим требованиям. Пока это был секрет, я тоже не хотела от него ничего, просто скучала себе понемногу рядом с ним; но и другая не пыталась расшатать существующие рамки, оставляла свободными наши уик-энды, и праздники, и вечера в будни уступала мне. Секретность распределяет роли по-своему, каждый знает правила игры, особых трудностей нет, забота одна — только бы все не открылось, и проблема одна — почему мы не проводим больше времени вместе. Желание, заставляющее тянуться друг к другу, тосковать друг о друге, делает любовь еще ярче, а прекрасные минуты, проведенные вместе, еще более сказочными. Дома же ничего не меняется, потому что жена не заботится о том, чтобы изменить что-то, и не чувствует опасность своего положения. Но когда ситуация выходит на свет божий, каждый хочет больше и больше.

Когда ситуация прояснилась, каждый захотел больше и больше — и вообще налить чистую воду в

стакан. То есть — однозначности и определенности. Пока дело не выплыло на поверхность, пока шло время секретности, он думал, что та, другая, будет не только другой, но и — иной. Но в конце концов оказалось, что она хочет того же, чего хочет каждая женщина, то есть быть единственной, а когда она этого не получила, то уже не захотела показывать, как сильно любит, не захотела делать вид, что настолько рада всему, что видит и переживает вместе с ним. Напрасно он делал или, по крайней мере, считал, что делает все; она сказала, что, если он не всей душой и телом с ней, если эта главная проблема не разрешится, тогда и она не сможет его любить всем сердцем. Это логично, сказал он, половина времени — половина любви.

Так не бывает, сказала я ему, когда он рассказал, чего хочет эта женщина, так не может быть, чтобы любовь зависела от этого. Это бывает, только когда человек соглашается быть любовником, сказала я, уж такова эта роль. А ведь я точно знала, что именно это показывает силу любви, что человек неспособен выносить ограничения, каждое ограничение причиняет страдания и боль. Не бывает такого, что ты любим лишь от сих до сих, а если пройдет, скажем, еще час, или тем более шесть часов, то с этого момента ты можешь вообще забыть про любовь. Я видела по нему: он устал добиваться любви. Мрачный приходил он домой и мрачный шел туда. Из-за тоски он стал похож на какого-нибудь фокусника: давай поедem куда-нибудь, говорил он ей, будем плавать, играть, танцевать, гулять, спустимся к Балатону. Он предлагал все новые и новые варианты, но радости не мог у нее вызвать, или только чуть-чуть. Почему ты не радуешься этому или тому, спрашивал он ее, но всегда получал один ответ: пока суть не из-

менится, радость не будет полной. Однажды он сказал, что даже самого себя начал подозревать: может, это он виноват, может, это в нем есть что-то такое, что подавляет в других способность любить его, да и сам он заметил за собой, что всегда испытывает одно и то же: если он счастлив, то счастлив — *почти*. Чем сильнее он добивается, чтобы его любили, тем острее чувствует, что не может получить то, чего добивается. Примерно так же складывалось у него, в течение многих лет, и со мной. И я уже смертельно устала от вечной его требовательности, я только хотела немного свободы, чтобы я могла набрать воздуха, чтобы в постели не нужно было отталкивать от себя его навалившееся на меня тело. Один день, полдня, один час, хоть сколько-нибудь... Лишь тогда я поняла, что он чувствовал, когда я начала цепляться за него. Потому что тот, для кого другой что-то значит, не может его отпустить. Если ты ничего к другому не испытываешь, то почему бы не дать ему возможность: пускай уходит. Но тут не так: если ты даже понимаешь, что лучше было бы протрубить отступление, эмоциональная сила удерживает тебя, и ты цепляешься за другого, как вьюнок, который можно оторвать от опоры лишь силой. Словно какой-нибудь упорный сорняк, от которого все хотят избавиться, когда он поднимется над высокой, по шею, травой.

Та, другая, хотела исключительных прав, хотела однозначных отношений, я же — только чтоб он остался, потому что я любила его. А он понятия не имел, что делать. Если так решит, проиграет, и если по-другому, тоже. Это он объяснял всем, с кем разговаривал, вечными своими терзаниями и неспособностью принять решение, вгоняя в скуку даже

самых близких своих друзей. Мы все проиграем, отвечала я, когда он и мне это говорил, — все проиграем, если он — ни так ни этак. А однажды — не знаю, почему именно в тот день, я перестала говорить ему, чтобы он наконец сделал какой-то шаг и двинулся в каком-то одном направлении, чтобы подталкивал одну телегу, а не метался туда-сюда. Я не сказала ему этого, потому что устала говорить. Как-нибудь, что-нибудь будет. Словом, не знаю, почему именно в тот день, — но решение родилось. Он сумел сказать «нет» той, другой, потому что не смог сказать «нет» мне. Это еще не было «да», ведь он не знал, что такое «да». На самом деле это было два «нет». Одно, которое он произнес, и второе — которое произнести не смог. Но по мере того как шло время, произнесенное «нет» становилось все более явным. И это второе «нет» было ужаснее, чем первое, потому что в первом была ненависть, которую он, из-за второго, произнесенного «нет», испытывал к самому себе и ко мне.

Я думала, когда-нибудь он еще будет мне благодарен: ведь я удержала его в том, что принадлежало ему на элементарном уровне, не дала ему окончательно сломать свою жизнь. Я ждала, что он изменится, ведь говорят, время лечит, и он увидит, сколько хорошего в том, в чем он остался. Но он не менялся. Подобно роботу, делал он свое дело, и не важно, что происходило, — он всегда был один и тот же. Иногда вырывалось у него какое-то раздражение, и невозможно было понять, чем оно вызвано и почему именно тогда, скажем, в самый обычный, ничем не отличающийся от других день, когда он приходил домой из института. Он перечислял свои обиды, ни одной не пропуская, словно читал какой-то список, — так дети слушают давно извест-

ные сказки. Он напоминал какую-то перегревшуюся машину: выпустив пар, он остывал и возвращался к привычному режиму работы. Мы оба смирились с этим и смирились с тем, что никто и ничто не может ничего изменить. Ситуация не менялась ни в лучшую, ни в худшую сторону; разве что мы постепенно изнашивались. Но ведь каждый изнашивается понемногу, тут ничего не поделаешь.

Время шло в том же русле, русле усталой примиренности, мы примирились с происходящим, оно шло, доламывая в нас и вокруг нас, что еще можно было доломать. Знаешь, я вот что думаю, сказал он однажды. Я удивилась, что он заговорил, причем совсем не так, как разговаривал до сих пор: он почти убивал словами, хотя говорил спокойным голосом. Я вот что считаю, сказал он, и я не подумала, что сейчас что-то произойдет, я уже смирилась с тем, что ничего не происходит. Я вот что думаю, сказал он и замолчал. Что, спросила я. Что лучше мне одному. То есть как — одному? Вот так, одному. Почему? Что-то же надо делать, потому что так, как есть, мне не годится, сказал он, и я вижу, тебе тоже. Насчет этого я сама решу, что мне годится и что нет. Я сама решу, это решать не тебе, сказала я, хотя понимала, что он прав: так, как есть, в самом деле никому не годилось. Каждый день заново осознавать, что я — та, кого выбрали по необходимости, я — та, которая, что бы ни делала, никогда не выйдет из круга вторичной роли. Что я — та, которую можно только не любить. Я действительно ощущала себя как что-то изношенное, вышедшее из моды, потому что именно это отражалось каждый день в его стеклянных глазах, которые уже не видели меня, а лишь отражали. Из зеркала на меня смотрела женщина, которую оставили из жалости.

И что это значит, спросила я. Он сказал, что уходит, хочет жить один. Новая жертва, кто-нибудь с работы, спросила я, потому что во мне до конца оставалось ощущение, что решение может исходить лишь от кого-то со стороны, кто появится и что-то изменит, и я, собственно, даже ждала, когда это случится. Нет, сказал он. Брось, а что еще может быть, сказала я. Я говорю, нет, сказал он и добавил, что такое никак не может случиться, потому что он ушел с работы. Ушел с работы? — вырвалось у меня. Да, сказал он. Почему? Надоело. И заявление написал, спросила я. Написал, сказал он. Я не хотела верить. На что же ты будешь жить, спросила я. Поделим сбережения, сказал он. Видно было, что он все уже продумал. На половину проживу какое-то время, потом что-нибудь придумаю. И где ты будешь жить? Не знаю, сказал он, как-нибудь устроюсь. А что скажем детям? Я была удивлена, удивлена не только тем, что он говорил, но и тем, насколько равнодушно, бесстрастно я это восприняла, задав, собственно говоря, лишь несколько практических вопросов. Мы уже не ждали друг от друга чего бы то ни было. Он тоже не чувствовал ничего, да и, собственно говоря, ничего не чувствовала и я.

Детям он сказал, что получил научную стипендию и будет работать в Швейцарии, там находится уникальный ускоритель частиц, единственный в Европе, дети это знали, ведь он столько раз об этом рассказывал, но он все-таки добавил некоторые подробности насчет того, что там особенного и чем этот ускоритель лучше других. Он не решился признаться им, что покидает ту специальность, которая до сих пор была его жизнью. Детям он дал понять, что останется работать там же, где работал до сих пор, только какое-то время его не будет дома.

В это можно было поверить. На самом деле он в течение многих лет говорил лишь то, что, частично или целиком, было неправдой. Он мог бы сказать про Агентство атомной энергии в Вене, куда однажды подавал на конкурс. Но он не хотел называть город, который был слишком близко, чтобы дети не закричали, ой, папа, мы к тебе на уик-энд поедem, когда ты будешь здесь, возьмем приятелей, бесплатное жилье в Вене, это все-таки не каждый день бывает. Он назвал более далекое место, хотя и не на другом краю мира. Дети сочли, что это правильное решение, или они вообще не думали об этом. Мысли у них были совсем о другом, жизнь родителей затрагивала их лишь по касательной. Отец уже не был тем отцом, которым они так восторгались. Свет его потускнел, как тускнеет паркет, кухонная мебель, ванна, все, что когда-то, во время переезда в эту квартиру, было еще таким новым.

Кое-что я так и не смог сделать, сказал он однажды, показать детям, пока они были маленькие, что я был хорошим отцом, — а потом уже не удалось. Что-то он испортил, что, не знает сам, в нем ли была причина, или дети любой ценой создают такой образ родителей, который устраивает именно их, и он стал жертвой этой простой психологической закономерности. Он не сумел этого понять, но сказал, что постоянно ощущает, как становится плохим отцом, что еще несколько лет и в памяти сотрется, каким хорошим отцом он был, как его обожали дети, — они все время смеялись, когда были с ним, а если ходили в поход, то вечно ссорились, кому идти сразу за ним, потому что чувствовали себя надежно, только когда шли по его следам.

Очень неприятно вдруг обнаружить, сказал он, что вся та любовь, которую ты испытывал к ним, вся

забота, все, что ты для них делал, распыляется, забывается в ходе их взросления. И никакой гарантии, что когда-нибудь у него с детьми сложатся отношения, которые будут отношениями не просто родителя и ребенка, но отношениями двух людей, отношениями, когда родитель смотрит на своего ребенка не как на некое неполноценное существо, ждущее от него указаний и правил, да и ребенок в состоянии увидеть в родителе все, что в нем есть человеческого. В том числе и несовершенство, неспособность быть всемогущим: это все-таки как-никак самая глубокая черта, определяющая нашу судьбу. Но ведь это и от тебя зависит, сказала я, от тебя зависит, какие будут у вас отношения, ведь то пространство, в котором ты живешь, только ты можешь сделать лучше, а если не хочешь или не можешь, то оно конечно же разрушается, как все, к чему человек не прилагает усилия. Нет, это невозможно, на это я не могу надеяться, сказал он, и видно было, как ему больно это говорить, и, когда он сказал, что уходит, а дети сказали, как хорошо ему будет там, и, конечно, сказали, что отцу всегда было хорошо, ведь у него работа такая, и с семьей ему повезло, они имели в виду и меня, их мать, которая все трудности выносила и принимала даже такого человека, как отец, с которым все-таки иногда не так уж и легко, потому что нет в нем той свободы, которая вообще-то есть у большинства взрослых, даже среди родителей их друзей. Надо думать, такие жены нечасто встречаются. Да, сказал он, и еще сказал, какой я всегда была хорошей матерью и что нелегко найти хорошую мать. И как он это во мне любит. На какую-то секунду я почувствовала, что глаза у меня становятся влажными; я проглотила комок, застрявший в горле.

На другой день он ушел. Берешь сумку, с которой дети ходили в поход, спросила я, когда он выходил

в дверь. Он не оглянулся. Да, этого хватит, и закрыл дверь. Он словно хотел сбежать от горького ожидания, что в конце концов и дети скажут ему «нет», как он сказал «нет» той женщине, и тем самым откажут ему в прежних чувствах. Потому что, если это произойдет, прошлое действительно обрушится на него со всем тем невыносимым сознанием тщеты, которой оно наполнялось, когда он возвращался мыслями к прошлому. И что о жизни своей ему придется думать как о впустую потраченном времени, и эту утрату невозможно будет восполнить, объяснял он мне однажды, потому что исправить что-либо можно только в том случае, если дано другое, новое время, однако нового времени нет, а если бы и появилось, то, очевидно, у него уже не осталось бы сил что-то сделать.

Я не знала, чем он занят, как живет, потому что он ничего мне об этом не говорил. Иногда он звонил, спрашивал, как дети, и просил сказать им, что мы разговаривали. Меня он не спрашивал, как и что. Его это не интересовало. Не говорил он и о том, как живет сам. Он не хотел, чтобы я знала это. Иногда мне приходило в голову: стал ли он похожим на других одиноких мужчин, появился ли у него, например, тот характерный холостяцкий запах, из-за которого таких мужчин далеко обходят женщины. Не знаю даже, отчего он, этот запах, может, они экономят на стиральном порошке? Или редко открывают шкаф и одежда там не проветривается? Дети тем временем отделились: из денег, полученных в наследство от бабушки с бабушкой, они смогли приобрести какое-никакое жилище и начать самостоятельную жизнь. Я боялась, что однажды они придут и скажут, видели папу там-то или там-то; но нет, не

видели. Они спрашивали, как он. Я рассказывала, с кем он работает в том швейцарском институте. Им было странно, что он им никогда не звонит, звонит только мне, и что не приезжает домой. Конечно, они понимали, тут что-то не так, у отца, наверное, кто-то есть, но об этом мы не хотим им говорить, — хотя они помнили день, когда дома все изменилось, когда после случайного телефонного звонка все стало ясно. Они догадывались, о чем идет речь, но мы об этом не говорили. Я не хотела, чтобы они смотрели на меня как на брошенную жену, которая вынуждена терпеть такое положение, и чтобы на него смотрели как на человека, который предал их, предал их детство. Они свыклись с тем, что мы выбрали такой путь, что не говорим того, что всего важнее, не даем им возможность понять, что произошло. Они тоже не говорили, как им все это обидно, что они думают об этом, что чувствуют, как не говорили и ни о чем другом. Спустя какое-то время они уже забывали спросить, как там отец. Я не могла сказать ничего нового, они не хотели дать понять, что чувствуют ложь. Возможно, они знали больше, чем я, какой-нибудь их приятель видел отца и рассказал им, над чем он работает и как возможно все это. Они ничего не говорили, потому что знали: это правда, отец уже давно не работает по своей специальности и, конечно, ни в каком там не швейцарском институте. Но мне они ничего не рассказывали и не спрашивали, что на самом деле случилось с отцом.

Отчего человек изменяется в такой степени, и вообще, как он мог стать настолько другим, чтобы отказать от всего того, что прежде было в его жизни элементарной потребностью, и можно ли представить, что когда-нибудь он станет снова таким, как прежде. Войдет в дверь и скажет, что мечтает

опять почувствовать запах пирога, который так часто встречал его вечером в воскресенье и в который так хорошо было окунуться вместе со мной и детьми. Но время шло и шло, а явления этого так и не последовало.

Он стал стираться у нас в голове, как стирается знание языка, если им не пользоваться. Что толку от когда-то сданных языковых экзаменов, если теперь приходится задумываться даже над самыми простыми фразами. Бывало, целое воскресенье мы проводили вместе, дети и я, а об отце вообще не заходила речь, словно его и не было никогда или он умер много лет назад. Так же как его отец больше не существовал для него после того происшествия.

Уж не знаю, сколько времени прошло. Все было каким-то совсем другим. Привыкнуть к тому, что я одна, разыскать тех подруг, которые тоже одиночки, и как-то скрашивать иногда невыносимо пустое время. Казалось, прошли годы, хотя их наверняка было меньше, чем казалось, — во всяком случае, я еще не могла оглянуться назад, думая, ну да, это событие произошло в том-то году, а спустя три года, или один, или пять, произошло другое событие, а уж после него, скажем, прошло еще полтора года. Бывает, ты настолько выпадаешь из времени, что понятия не имеешь, что и когда случилось и сколько времени с тех пор фактически миновало, не можешь поместить событие в логический ход времени, хотя помнишь дату и знаешь, сколько лет прошло с тех пор.

Вы не видели — в новостях?.. Не видела я ничего в новостях, и не смотрела их. Вообще не люблю новостные программы, там в основном криминал, взрывы всякие. Это тоже криминальный сюжет, поэтому и мог быть в новостях. Нет, не видела и ниче-

го не знала об этом, когда мне позвонили, что это был он.

Я стояла, прижав телефон к уху. В последнее время слух у меня стал хуже. Я и телевизор ставила на максимальную громкость, дети всегда говорили, ой, это же невыносимо, — если телевизор был включен, когда они приходили.

Кто — он, спросила я, и тот, кто звонил, подробно рассказал, что произошло; там уже такая паника, потому что это — четвертый подземный гараж, который они проверили, времени у них не было совсем, потому что сообщивший сказал, когда произойдет взрыв, но точный адрес не дал, сказал только, что подземный гараж и Будапешт. Вот в этой панике, в этой отчаянной ситуации и оказался этот мужчина. Они не могли понять, что происходит. Кричали ему, но он не реагировал. Конечно, есть строгие правила насчет использования оружия, и эти правила нужно соблюдать, и тот коллега их знал прекрасно, который в конце концов, после нескольких окриков, выстрелил.

Я ничего не чувствовала.

Знаю, мадам, продолжал полицейский, ужасно такое слышать, но все-таки большая удача, что — всего две жертвы. Если бы в конце концов не удалось обезвредить взрывное устройство, весь подземный гараж взлетел бы на воздух, со всем, что было над ним, с магазинами, офисами, со множеством людей, которые там работали или покупали что-то, так что подумайте сами, как бы мы смотрели в глаза родственникам жертв, сказал он, и что вторая жертва — женщина. Сорок один год? — спросила я. Откуда вы знаете? Я не знаю, так, наугад сказала, ответила я растерянно, потому что нельзя же никому объяснить, что ты запоминаешь тысячу ме-

лочей о человеке, из-за которого, собственно говоря, была разрушена твоя жизнь, и об этой женщине я знала все, не знаю даже откуда. Я и возраст ее вычислила, как-то подсознательно, и как свой день рождения, так и ее день рождения помнила. Да, сказал полицейский, женщина, сорок один год, и рассказал, что они успели о ней узнать. Она неожиданно появилась из-за своей машины, до той минуты они даже не видели, что она там. Он стал подробно рассказывать, что случилось. Потом снова спросил, не знала ли я ее. Я сказала, нет, и спросила, что там делал мой муж. Полицейский удивленно переспросил: вы не знаете? Мы какое-то время не общаемся, ответила я. А, тогда понимаю, и сказал, что он работал в подземном гараже охранником и что пока это лишь подозрение, но, конечно, это только из-за оформления обязательных бумаг, пока не закроют расследование, потому что на самом деле нет сомнений, что это он изготовил взрывное устройство, на нем нашли его отпечатки пальцев, — и не знаю ли я, что могло стать причиной. Я сказала, понятия не имею, хотя знала. Он не смог жить без этой женщины, которая разрушила нашу жизнь. Боль стала невыносимой, думала я, когда до него дошел слух, что у той женщины уже другая жизнь. Мне тоже рассказывали, те, кто знал эту женщину. Она нашла наконец мужчину, с ним не было вопроса, наполовину или целиком он хочет ее, потому что он хотел только ее. Это и было причиной, думала я, потому что — как он смог бы принять ту, другую жизнь, которая вычеркивала его бытие и его любовь? Не мог он жить другой жизнью, без той женщины, которую выбрал. Он думал, лучше уж он положит конец другой жизни, которую эта женщина сумела создать для себя после разрыва с ним. Чтобы хоть таким образом их судьба все-таки стала общей судьбой.

Я чувствовала совсем не то, что должна была бы почувствовать. Все, что рассказал полицейский, выглядело так, словно я смотрела какой-то фильм, в котором все, конечно, выдумка, только те два часа — правда. Я не чувствовала ничего, кроме того, что чувствует обычный зритель.

Я постояла немного, потом положила трубку.

Они просили, чтобы я пришла на опознание, но я сказала, что не пойду, пускай позовут его сослуживцев. Я стояла там, огорошенная фильмом, медленно возвращаясь к реальности, и думала: что я скажу детям? Нужно ведь не только сообщить о его смерти, но и сказать, кем он был на самом деле. Кем был тот человек, который умер в объятиях сорокалетней женщины в подземном гараже?

Телефон твой звонит.
Слышу.
Кто это?
Мать.
Не возьмешь трубку?
Завтра позвоню.

Хаи Я.

- X15 Подземный гараж : роман / Янош Хаи; пер. с венг. Ю. Гусева. — Москва: Текст, 2018. — 270[2] с.

ISBN 978-5-7516-1505-5

Все — плохо. Все — мираж, обман, самообман. Даже любовь — лишь мазок яркой глазури, которая спустя какое-то время тускнеет и осыпается прахом. Супружество, семья, энтузиазм, благородство, добро, красота — не более чем романтические иллюзии, которые в жерновах повседневности перерождаются в равнодушие, холодную неприязнь, мелочный расчет... Венгерский писатель Янош Хаи (р. 1960) умеет писать так, что становятся видны все глубины этих процессов, затрагивающих, наверное, жизнь любого человека. Но как поражает и потрясает, когда под этими свинцово-серыми пластами, на краю безумия и гибели, жизнь на какой-то миг озаряется вдруг вспышкой самой что ни на есть романтической, шекспировской, всепоглощающей любви!

УДК 821.511.141-31

ББК 84(4Вен)-44

Янош Хаи
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ

РОМАН

16+

Редактор Ю. Зварич
Корректор Т. Калинина
Художник И. Киреева
Художественный редактор К. Баласанова

Подписано в печать 26.07.18. Формат 84 x 108/32
Усл. печ. л. 14,28. Тираж 2000 экз.
Изд № 1383. Заказ № 130488

Издательство «Текст»
125319 Москва, ул. Усиевича, д. 8
Тел./факс: (499) 150-04-72
E-mail: textpubl@yandex.ru
<http://www.textpubl.ru>

Отпечатано: АО «Т 8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 495 221-89-80

